



Варлам Шаламов

Избранное в двух томах
Том I

ФТМ



Варлам Шаламов

Избранное в двух томах. Том I

«ФТМ»

Шаламов В. Т.

Избранное в двух томах. Том I / В. Т. Шаламов — «ФТМ»,

ISBN 978-5-4467-3006-3

Варлама Шаламова справедливо называют большим художником, автором глубокой психологической и философской прозы. Написанное Шаламовым – это страшный документ эпохи, беспощадная правда о пройденных им кругах ада. В электронное издание вошли знаковые произведения, принесшие мировую славу автору публицистики о колымских буднях заключенных Дальлага. В книге публикуется вступительная статья Ирины Сиротинской «Правда Шаламова – на все времена». В I том издания вошли сборники: «Рассказы 30-х годов», «Колымские рассказы», «Левый берег», «Артист лопаты».

ISBN 978-5-4467-3006-3

© Шаламов В. Т.

© ФТМ

Содержание

Правда Шаламова – на все времена	5
Рассказы 30-х годов	6
Ганс[1]	6
Три смерти доктора Аустино	9
Возвращение	11
Господин Бержере в больнице	14
Пава и древо	16
Маяковский разговаривает с читателем	20
На заводе	22
Вторая рапсодия Листа	26
Карта	28
В зеркале	32
Колымские рассказы	34
По снегу	34
На представку	35
Ночью	39
Плотники	41
Одиночный замер	44
Посылка	46
Дождь	49
Кант	51
Сухим пайком	54
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Варлам Шаламов

Избранное. Том I

Правда Шаламова – на все времена

Это собрание сочинений – памятник мужественной и многострадальной жизни Варлама Тихоновича. В его жизни едва наберется 30 лет, прожитых в «нормальных условиях»: 10 лет детства («1918 год был годом краха нашей семьи») и 20 лет после реабилитации. С 1956 года до 1977 года – обострения его болезни (если считать нормальным, что его прозу не печатали). Но сам он в рассказе писал: «Я никогда не был вольным, я всегда был свободным во все взрослые годы моей жизни» («Необращенный»).

Он жил глубокой внутренней жизнью, где сожителем и соавтором его был целый мир.

И на листве – на ветровом стекле
Летящей в бесконечное природы,
Моя земля скрывается во мгле,
Доступная познанию небосвода.

(1970)

Внятен ему был голос цветка и камня, прошлого и будущего, человеческого сердца и далекой звезды, быть может, окончившей свой век гигантским алмазом.

При таком необъятно глубоком восприятии мира и 30 лет вмещают не только память о трагедии государственного насилия, о войнах, лагерях и несправедливости, о человеческой жизни и смерти, но и о бесстрашии, о славе и делах людей, подобных Фритьофу Нансену или Эрнесто Че Геваре.

Его внутренний, свободный от всех ограничений – политических, литературных, клановых, житейских – мир (исключительно редкий случай!) и отразился на страницах его гениальной прозы, его стихов, а глубже и доступнее для читателя он становится благодаря воспоминаниям, записным книжкам, письмам, эссе, где творческий поиск писателя раскрыт с исповедальной откровенностью.

Кратким послесловием составителя сопровождается каждый раздел собрания сочинений. Содержание прозы и стихотворений, адресованное автором прямо сердцу и разуму читателя, не нуждается в посредниках. Оно нуждается в исследователях, тончайшем интеллектуальном препарировании в поисках потаенных смыслов, связей, символов, метафор, подтекста и контекста.

То, что читатель почувствует, исследователь извлечет вполне сознательно в меру своих возможностей. Шаламову же важнее было сердечное сочувствие читателя. Он подарил мне книгу Антуана де Сент-Экзюпери, подчеркнув его слова «Зряче только сердце».

Век, прошедший с рождения В. Т. Шаламова, увы, только подтвердил его пессимистический прогноз о жестокости несправедливых войн, не встречающих сопротивления, о криминализации общества, о кризисе гуманизма. Только бесстрашно и бескомпромиссно сказанная правда, облеченная в страстное художественное слово, оставляет надежду на спасение человечества.

И. Сиротинская

Рассказы 30-х годов

Ганс¹

– Это не перелом, а вывих... Позвольте. Вот так... Мерзавцы... Через 10 минут боль утихает... Я врач, видите ли, из оказавшихся негодными... Позвольте почистить ваше пальто... Хамы... напасть на женщину... Сумочка цела. Прекрасно.

– Если бы не вы... но у вас на руке кровь. Вот платок.

– Это их кровь, позвольте мне проводить вас. Девушка одна в чужой стране. Мой долг. Соотечественница...

– Вы.

– Да, за шлагбаум. Еще зимой. Я не подхожу фюреру. Три неосторожных слова. Недостаточно громко крикнул «Хайль»... Оставалось подвязать лыжи. Горные тропы... И я здесь... Один, как и вы.

– Не провожайте дальше. Благодарю.

– Я оставлю платок себе. Это будет моей наградой.

– Вашу руку.

– Ганс Эдельберг.

– Маргарет Рау. Прощайте.

* * *

– Вы? Боже мой, разве мог я не узнать вас. Вы не рассердитесь, если я пройду с вами... До угла. Я хочу показать вам город. Я здесь раньше вас. Это старина. Черепичные крыши, лучшее масло в мире. Масло для богачей. Страна, у которой нет армии.

В том домике жил старик Андерсен. Мой тезка. Вы помните сказку о Снежной королеве? Дьявол разбил зеркало, и осколки попали в глаза людей. Люди видят мир по-разному...

– Надо вынуть эти осколки.

– Я врач, но не глазной хирург.

– Для этого не надо быть хирургом.

– Вы похожи на Снежную королеву, Маргарет.

* * *

– Кельнер, еще кружку. Пошлите мне цветочницу. Небольшой букет. Дешевых, понимаете. Да, да, той самой даме. Белокурой, за угловым столом.

– Мой скромный подарок рассердил вас? Это – жалкий букетик, но я не могу покупать этих роскошных пьяных цветов, перевязанных муаровой лентой. Я эмигрант. Простите меня, Маргарет. Скажите мне, чтобы я ушел. Я исчезну. Я буду грузить уголь в Аргентине, возить тачки в бразильских рудниках, завинчивать гайки в Детройте, словом, буду работать там, куда забросит меня судьба. Но ночуя в грязной конуре, на нарах, по которым ползают клопы и вши, я буду помнить вас, видеть вас, Маргарет.

– Не говорите так. Я не хотела вас обидеть, но понимаете... У меня очень мало времени.

¹ См. комментарии.

– Я прошу минут, маленьких минут, Маргарет, вы смелая женщина. Вы молчаливы. Я уважаю вас. Я люблю, не сердитесь. Я не только люблю. Я ненавижу. Я хотел бы сражаться вместе.

– Ганс, вы принимаете меня за кого-то другого.

* * *

– По утрам – я в стране цветов. Старик из оранжереи хорошо знает меня. Десятилетняя внучка водит меня по садам Семирамиды. Желтые ромашки, жаркие пышные пионы, вырезанные гиацинты, тюльпаны, анемоны, пляска цветов и запахов. И сквозь все это одуряющее великолепие я всегда вижу вас, Грэта, ваше усталое лицо.

– Оно в морщинах, милый Ганс. Морщины – шрамы битв, рубцы сражений...

– ... и я вдыхаю запах ваших волос, волос Брунгильды.

– У вас военная выправка, доктор.

– Ого, вы наблюдательны, Грэта. Эти трудовые лагеря, будь они прокляты. Подготовка к новой войне. Инженеры и врачи роют канавы для шоссе, для дорог, затем они маршируют. Раз, два. Раз, два. К черту. Меня тошнит от воспоминаний.

– Сирень, какой у нее горький вкус. Копите злобу, Ганс, копите злобу.

– Моей матери понравилось бы здесь, Грэта. Темно-зеленая трава. Чисто вымытые коровы. Мычание коров – лучшая мелодия для моей матери. Что до меня – предпочитаю автомобили, сирены.

– Вы любите свою мать, Ганс?

– Да, она была для меня лучшей женщиной – до той ночи...

– Не надо...

* * *

– Вы любите быструю езду?

– Да, я хотела бы, чтобы все двигалось скорее. Люди. Время. Существуют разные миры. Мир пешехода. Мир трамвайного пассажира. Мир автомобилиста. Мир летчика. Ощущение мира зависит от скорости движения. Скорость мыслей. Есть страна, где люди догнали время... Советский Союз.

– Теперь сюда. Здесь хорошее шоссе.

– Где мы едем?

– Не бойтесь, я знаю дорогу.

– Это германские столбы, Ганс, назад. За нами едут, Ганс. Автомобиль. Сверните в сторону.

– Черт, шина.

– Назад, Ганс, на помощь, Ганс, стреляйте, мой револьвер разряжен...

* * *

– Откройте эту камеру. Ну, Брунгильда, приветствую вас на родине.

– Ганс.

– Я такой же Ганс, как ты – Маргарет, шлюха. Тебя удивляет мой мундир. Ты не любишь военных, девочка. Влей ей воды в глотку, Питер, она охрипла. Это отрезвляет. Вы узнаете Питера, фрау? Это он вывихнул вам палец. В ночь нашей первой встречи. Теперь ты, может быть, назовешь своих друзей?

Плеваться? Подержите ее за космы, Питер, пока я заткну ей рот. Знакомый платок, фрау. Три месяца волнений... Скажите словечко, фрау. Не хотите. Мы тебя разложим перед целым взводом, шлюха. Свеженькая девочка, на всех хватит, не правда ли, Питер? Адреса, Брунгильда, адреса... Нет. Давай сюда штурмовиков, Питер.

– Есть, господин лейтенант.

⟨1935⟩

Три смерти доктора Аустино

Бритый затылок коснулся холодной стены. Сыро, хотя солнце давно поднялось. У стены напротив стоят солдаты. Пуговицы их слабо блестят – одна, две... шесть пуговиц на солдатской куртке. Сбоку стоит офицер. Доктор Аустино видел его в почетном конвое губернатора, но тогда он надевал каску с плюмажем. Сейчас – в фуражке. Ведь нынешний день – будни офицера, будничная ежедневная работа. Рядом, у стены – товарищи. Они не знакомы доктору Аустино, но это его боевые товарищи, друзья, которые боролись и умирают за одно дело. Они жмут друг другу руки, слегка позвякивая кандалами. На глаза осужденных надевают свежестиранные белые повязки. Доктор Аустино отказывается. У него достаточно мужества, чтобы встретить смерть с открытыми глазами. Но без повязки нельзя, не позволяет устав расстрела: ему завязывают глаза, как и всем остальным. Нестройно запевают песню. Не ладится. Песня обрывается. Сейчас, должно быть, офицер закладывает обоймы в солдатские винтовки: часть патронов с холостым зарядом, часть с боевым. Это для того, чтобы никто не знал, что именно он – убийца. Офицер, вероятно, поднимает руку...

* * *

Стой, остановись! Кто здесь доктор Аустино?

Доктор делает шаг вперед. С него снимают повязку. Запыхавшийся солдат путано и несвязно докладывает офицеру. У жены начальника тюрьмы преждевременные роды. Она умирает. Единственный врач этого небольшого провинциального города – за добрую сотню миль в горы, вернется только к утру. Начальник обещает все, что угодно. Это первые роды жены, первый ребенок.

– Идите, – говорит офицер доктору, – спектакль отменяется.

Доктор Аустино знает начальника тюрьмы, худощавого зверя с тонкими усиками, затянутого в безупречный, без единой пылинки, мундир. Это он во время митинга заключенных отдал приказ пожарной команде залить камеры водой. Это он совершенствовал систему горячих и ледяных карцеров. Это он, зверь с высшим образованием, собственноручно избивал заключенных.

Доктор Аустино знал и жену зверя – раскормленную, накрашенную бабу, благодетельницу часовен и церквей, которая била зонтиком прислугу, перегревшую на два градуса ванну. Доктор Аустино не пойдет. Славная месть врагу в последнюю минуту жизни.

Черт возьми, как повезло доктору Аустино! Но ведь Аустино врач. Он давал университетскую присягу. Чепуха! Он лишен всех прав. Он на пороге смерти. Встреча со смертью освобождает от всех присяг и обещаний. От всех ли? А обещания ненависти? Доктор Аустино думает о том, кто родится. Это будет, конечно, мальчик. Доктор Аустино видит его, писклявого, нездорового ребенка, обкусывающего грудь кормилицы. Недоносок, с больной печенью и недоразвитым организмом, выросший на грелках, окруженный заботами маленький эгоист. Ему твердят с детства, что он высшее существо, что ему принадлежит мир. Доктор Аустино видит зверенка, топящего котят и выкальывающего глаза цыплятам. Вот он в военном мундирчике, подрастающий убийца. Вот обеспокоенная мать, нанимающая прислугу для «удобства» сына. Доктор видит прислугу – беременную, плачущую женщину, растерянно бредущую по горячей мостовой города. Звереныш вырастает в зверя – он уже командовал разгоном демонстрации, он получил первое повышение в чинах, и вечером, танцуя с бокалом дорогого желтого вина в руке – так, чтобы ни одна капля не пролилась, – молодой зверь хвалится своим первым успехом. Другим он не будет – сын зверя.

– Отказываюсь, – сказал доктор Аустино громко и отдельно. – Будьте вы прокляты!

На глаза вновь надевают повязку. И доктор Аустино запевает победную песню.

* * *

Остановитесь! Доктор! Умирает человек и рождается человек. Двадцать лет доктор Аустино ходил по первому зову ночью, в непогоду, больной, – ходил всегда. Выработалась привычка. И почему он стал доктором? Он любил людей – он хотел и стал лечить, спасать жизнь от смерти. Разве сейчас он изменит этой любви? Жизнь человека в опасности, – а что важнее жизни? Сам умирая, доктор спасает жизнь двух человек. А может быть, и третьего, самого себя. У начальника тюрьмы ведь есть человеческие чувства. Благодарность. Но если доктор Аустино умрет, все же он сделал благородное дело. Солдаты увидят, расскажут другим – весь город, весь мир будет знать, какой благородный человек доктор Аустино. Он не может не пойти. Он хочет жить. Хотя бы еще сутки. А может быть, и больше – годы. Чудесный шанс! А если нет? Он попробует бежать. Все равно, главное – жизнь человека в опасности, и доктор Аустино, человеколюбец. . .

– Иду, – сказал доктор Аустино.

Он почувствовал на спине взгляд товарищей, может быть, ненавидящие, может быть, завистливые взгляды. Впрочем, на их глазах повязки. Огромное небо обрушилось на доктора Аустино, и ветер хлестал его в лицо, пока машина, подпрыгивая и непрерывно гудя, летела к городской больнице. Доктор Аустино указывал на инструменты, и конвойные складывали их в чемодан.

В квартире, где умирала женщина, доктора Аустино встретил растерянный, жалкий человек с воспаленными глазами и зелеными щеками, туго обтянувшими скулы. Нижняя губа человека тряслась, он протягивал арестанту тонкие желтые пальцы с длинными ногтями.

Конвойные стояли навтыжку у огромного бюста Данте. Резные шкафы, полные книг, тянулись по стенам комнаты. На небольшом белом рояле стоял букет завядших цветов. Раскрытая английская книга валялась на диване. Машинка для закручивания усов упала с туалетного столика. Доктор Аустино поднял руки, и измученный, худощавый человек бросился к письменному столу. Он достал ключ и отпер кандальный замок. Начальник тюрьмы гордился специальными кандалами. Они надевались лишь важным преступникам лично начальником тюрьмы. Это было одно из изобретений начальника.

Доктор Аустино размял затекшие руки, прошел в комнату роженицы. Утомленное перекошенное лицо женщины с надеждой смотрело на доктора. Глаза глубоко ввалились, и красная пена выступила на губах.

– Сулему, конечно, мы забыли, – сказал доктор. – Давайте спирт и кипятите воду. Где можно умыться? Я уже месяц не умывался.

Через час доктор вышел из спальни. На руках его, завернутое в белую марлю, лежало синее тельце ребенка. Ребенок слабо пищал.

– Вот ваш сын, – сказал доктор Аустино. – Мать вне опасности.

В комнату вошел вестовой – городской доктор вернулся с гор.

Конвойные отвели Аустино в тюрьму, и он сидел в своей камере до утра, голодный, он был снят с питания – канцелярия тюрьмы уже считала его мертвецом. Утром за доктором Аустино пришли солдаты и вывели его на квадратный тюремный двор.

Бритый затылок коснулся сырой холодной стены. На глаза доктора Аустино надели повязку, и он услышал негромкую команду офицера.

Возвращение

Стоя на краю тротуара, Стрэд ждал таксомотора, медленно выдыхая дым дорогой сигареты. С горы к вокзалу спускалась улица и по ней стекали автомобили. Световые рекламы бледно горели в летнем вечернем небе. Стрэд поискал название своей фирмы, – не нашел и усмехнулся. Он растоптал окурок сигареты и, подняв глаза, увидел маленькую девочку. Она перебежала площадь. Раскатившийся с горы автобус догонял ее. Девочка споткнулась...

Стрэд кинулся к автобусу и отбросил девочку в сторону от черных огромных теплых колес. Мелькнул узор шины, кусок беззвездного неба, и Стрэд потерял сознание...

– Где я?

– В госпитале Девы Марии. Что вы делаете? Вставать нельзя без разрешения дежурного врача!

– Пустяки, я совершенно здоров.

– Доктор, можно встать больному?

– Да. Я сам проведу его в приемную; там его ждут родственники.

– Родственники?..

Женщина протянула к нему руки:

– Вы спасли моего ребенка! Я два месяца каждый день хожу сюда, чтобы знать, поправились ли вы, чтобы видеть вас, чтобы благодарить вас!

Больной недоуменно смотрел на женщину, на врача...

– Вы забыли себя, – ласково сказал врач, положив ему руку на плечо. – Вы – Стрэд, мистер Стрэд, вояжер. О вашем приключении писали в газетах. Теперь вы здоровы, и прошлое вернется. Я выписываю вас сегодня – больница не может так долго держать бесплатного пациента. Кстати, как вас зовут – Джон или Джемс?

– Не знаю, – ответил Стрэд, оторвав, наконец, пуговицу халата.

* * *

Документ, деньги и чемодан Стрэд получил в больничной конторе. Денег было много, в чемодане лежало белье, бритвенные принадлежности, костюм, две книжки «дорожных» романов и ящик с образцами роговых изделий. Документ был только один – удостоверение фирмы «Файн и К°», данное коммивояжеру Д. К. Стрэду.

Запершись в номере гостиницы, Стрэд рассматривал свои вещи. Вещи были новые, дорогие. Они ничего не подсказывали ему...

Стрэд подошел к зеркалу. Волосы на голове уже успели отрасти. Нос – обыкновенный, глаза – не то голубые, не то серые, подбородок круглый, крутой... Стрэд разглядывал себя, как чужого человека, отмечая глубокие морщины, засеченные в углах рта и около глаз. Лет 30, не больше.

Он взял лист бумаги и написал несколько раз: Стрэд, Стрэд. Он писал свою фамилию, как незнакомую, впервые. Д. Стрэд. Пусть будет Джемс Стрэд! Вот у него есть и имя.

Он пересчитал деньги. Хватит на несколько месяцев, если жить экономно. Вот таких сигарет, какие лежат у него в кармане, покупать нельзя. И гостиница тоже дорогая. Надо искать работу. Но что он умеет делать? Продавать роговые изделия?..

Холодный пот выступил на лбу Стрэда. Кто же он? Доктор говорил что-то о газетах...

Стрэд побрился, оделся и вышел из комнаты.

– Где здесь ближайшая библиотека? – спросил он у швейцара.

– На восьмой улице, – ответил швейцар. – Вы не знаете города, мистер? Надо пойти налево, а затем...

В библиотеке он перечитал описание спасения девочки. Стэд узнал, что он был неизвестным приезжим, самоотверженно бросившимся под колеса автобуса. Девочка «отделалась легким испугом». Он читал, как неизвестного отвезли в госпиталь Девы Марии, как хирург констатировал сотрясение мозга.

Больше ничего не было.

– Дайте мне что-нибудь о заболеваниях мозга, – сказал он библиотекарю, возвращая газеты.

Он переехал из гостиницы, сняв комнату на одной из тихих улиц у пожилой и молчаливой хозяйки. Жить стало дешевле, но деньги, хотя и медленно, убывали.

Он послал письмо в адрес фирмы, прося сообщить подробности о Д. К. Стрэде, выдавая себя за брата вояжера. Письмо вернулось обратно с сообщением, что фирмы «Файн и К°» в городе нет и никогда не было. Адресный стол города ответил то же о Д. К. Стрэде.

«Я схожу с ума!» – подумал Стэд.

Он хотел напечатать свой портрет в газетах, но внезапная мысль о страшной возможности довела его почти до обморока: ведь он мог быть уголовным преступником, скрытым за «вояжером фирмы роговых изделий»!

С тех пор он бесцельно бродил по улицам большого города, напряженно приглядываясь к людям и вещам. «Судя по выговору, вы с севера», – сказал ему кто-то в трамвае. И Стэд рылся в этнографических книгах, бросался в музеи. Нет! По-прежнему он был Д. К. Стрэдом, человеком без прошлого.

Как-то за городом он набрел на юного франта, беспомощно топтавшегося у своего автомобиля. Франт попросил Стэда помочь ему. Удивляясь себе, Стэд уверенно подошел к машине. Он откинул крышку радиатора, завел мотор и прислушался. Движения были совершенно инстинктивными. Стэд быстро определил в чем дело и тут же исправил мотор. Юнец протянул ему деньги, но Стэд отказался и в отличнейшем расположении духа вернулся домой. Он узнал, что может быть механиком, шофером.

Вскоре внезапно выяснилось, что Стэд кроме того еще отличный игрок в шахматы, а философские сочинения, которые он читал в библиотеке, казались ему уже читанными ранее, очень давно, словно виденными во сне.

Может быть, он – поэт? Стэд пробовал писать стихи, ходил в картинные галереи. Порою, он подолгу разглядывал свои руки. Толстые, крепкие пальцы совсем не были похожи на пальцы, скажем, потомственных банковских служащих. Однако недавней физической работы эти руки, видимо, также не знали.

Однажды, когда в очередную бессонную ночь Стэд метался по комнате, в дверь постучала хозяйка.

– Мистер Стэд, – сказала она, – дух ваш беспокоен. Прошлое душит вас.

– Меня душит отсутствие прошлого! – вскричал Стэд. – Миссис, – сказал он в отчаянии, – помогите мне найти себя!

Хозяйка подняла руки к потолку.

– Там, – сказала она, – там, в объятиях голубого бога, вы найдете себя, мой заблудший брат!

Стэд с сомнением покачал головой.

«Завтра, – решил он, – я буду искать другую квартиру».

Он не узнал улицы, хотя ему было известно, сколько шагов между каждым ее перекрестком. Не было ни трамваев, ни автомобилей, ни пешеходов обычного вида, и только девочка, уличная цветочница, по-прежнему стояла на углу, улыбаясь заученной улыбкой.

По опустевшей мостовой поднималась в гору толпа демонстрантов. Буквы на широких, красных, колыхающихся полотнищах складывались в требования работы и хлеба. Демонстрация двигалась медленно, потому что впереди шли инвалиды, переваливаясь на деревяшках, размахивая пустыми руками, сверкая металлом патентованных протезов. Часть их ехала на маленьких платформах с колесиками, упираясь руками в камни мостовой. И все они пели военную песню. А впереди всех вышагивал мальчик, маленький барабанщик этой наступающей армии обездоленных, лихо сдвинувший на затылок фуражку.

Толпа остановилась, песня смолкла, и минуту слышалась только мелкая дробь одинокого барабана.

Стрэд стоял, тяжело дыша, царапая ногтями ладони. В висках у него стучало, рубашка прилипла к телу.

На ящик у фонарного столба руки демонстрантов подняли оратора. И едва он кончил речь, как Стрэд сорвался с места и, расталкивая толпу инвалидов и здоровых, пробился к этой уличной трибуне. Спина его ощутила освежающий холод фонарного столба. Стрэд заговорил. Он говорил слова, пришедшие ему в голову тут же, и эти слова были словами массы, интересами массы, – вот этих инвалидов войны и рабочих, локаутom выгнанных с заводов. Стрэд цитировал на память слова великих вождей, статистические подсчеты, говорил о событиях, которые еще вчера не помнил. Он видел перед собой сдвинутые брови, сухую кожу щек, широко открытые глаза, а через толпу – девочку, раздававшую демонстрантам даром свои цветы.

Кончив свою речь, он услышал стесненное дыхание сотен людей и спрыгнул с трибуны. Смуглый человек потянул его за рукав. Он отвел Стрэда в сторону и медленно сказал:

– Что нынче стоят рога оленя?

И Стрэд вспомнил все – кто он и кем был послан в этот город...

Господин Бержере в больнице

Ассистент повернул теплый термометр к окну.

– Сколько?

– Норма, профессор.

– Выписывайте. О вас слишком заботятся, больной. Сразу после приключения – свинцовая примочка, рюмка портвейна и вы могли продолжать ваши апелляции к совести прекрасной Франции.

Господин Бержере лежал, счастливо улыбаясь. Он знал, что профессор любит шутить. На столике стояла ветка сирени. Господин Бержере вдыхал запах весны. Он снял пенсне и закрыл глаза, пытаясь честно припомнить «приключение». Как это трудно – честно вспомнить. Бержере столько раз рассказывал свою историю врачу, соседям, что знал ее наизусть и вспоминал уже свой рассказ, а не событие. Но сейчас – для себя – он попробует вспомнить все – без рамплиссажей, как говорят музыканты. На площади, у сквера, где любил гулять Бержере, – много людей. На бульварной скамейке стоит оратор. Шея его замотана рваным цветным шарфом. Бержере прислушивается. Нет, он не одобряет таких разговоров. Дома в халате, за стаканом старого вина, в кругу друзей – это допустимо. Но на улице? Перед незнакомыми людьми? Вздор. Он вовсе не говорит речь, этот оратор. Он читает вслух газету. Бержере подходит ближе. «Юманите». Господин Бержере – подписчик «Эвр», солидного издания. Читать «Эвр», все равно что быть вкладчиком банка Ротшильда. Никаких крахов, никаких банкротов, но «Юманите»?

Чтение прерывается. Все, вытянув шеи, глядят на другую сторону площади. Отряд конных полицейских скачет к скверу. «Убегайте», – кричит Бержере. Но люди не бегут. Они стягиваются друг к другу. Молодой парень поднимает булыжник.

– Сражаться с полицией? – спрашивает Бержере. – Республика...

– Вам не место здесь, мсье, – говорит человек в шарфе. Конный отряд близко. Слышен легкий визг вынимаемых сабель. Грязь из-под копыт лошадей брызжет на новое пальто господина Бержере. Солнечный зайчик от сабли полицейского на мгновение ослепляет Бержере. Затем он видит падающего человека. Господин Бержере поворачивается к тесно сомкнувшимся людям, к нахмуренным бровям и крутым скулам и выкрикивает слова о человечности, любви, традициях Республики, долге граждан великой Франции. Молодой парень отшвырнул Бержере в сторону. Бержере увидел ветви дерева, облако и много после – куртку санитаря.

* * *

– Господин Бержере, – сказал ассистент, прощаясь. – Вот добрый совет врача: не мешайтесь не в свои дела.

Бержере возмущенно пожал плечами. Он плохо воспитан, этот молодой человек.

Улица открылась плотным весенним воздухом, капелью и шумом многотысячной толпы. Не соблюдая рядов, заполняя тесной толпой мостовую, тротуары, шли демонстранты. И нестройный шаг не мешал им выкрикивать хором, как под взмахи руки невидимого дирижера, слова угроз и обещания мести. У фонарного столба стояла девушка. Из-под весенней шляпки прошлогодней моды выбивались вьющиеся желтые волосы. Она раздавала проходящим какие-то листки. Бержере, умиленный выздоровлением, солнцем, пестротой толпы, широко улыбался – девушке, городу, миру. И девушка улыбнулась и протянула ему листок.

Толпа редела, выкрики отошли за несколько кварталов, появился полицейский. И Бержере увидел: с противоположного тротуара двинулся стройный человек легкой походкой тан-

пора. За ним прошли еще несколько людей в пальто, плотно облежавших их прямые спины и выгнутые торсы.

– Прекрасный день, мадмуазель, – вежливо сказал Бержере, приподнимая шляпу. Почему не поговорить с хорошенькой девушкой?

– Да, мсье, – ответила она рассеянно и, вздрогнув, оглянулась. Она была окружена. Один из тех – с другой стороны улицы – ударил девушку в лицо. Он ударил ее быстро, только один раз. И вместо неправильных и прелестных черт на господина Бержере смотрела с земли кровавая маска, бифштекс из мясной лавки. Человек с фигурой танцора прицеливался каблуком в голову девушки, окруженную нимбом разметавшихся золотых волос.

Господин Бержере бросился к девушке, но от толчка в бок отлетел к стене дома.

– Вы бьете женщину, – крикнул Бержере, задыхаясь.

– Она – коммунистка!

– Она – человек!

– Человек? Пьер, вот еще один коммунист.

– Я не коммунист, – хотел сказать Бержере, но не успел, потеряв сознание.

* * *

– Вот так штука, профессор. Господин Бержере вернулся. На этот раз надолго.

– Дон Кихот уличных сражений, а?

Господин Бержере лежал на санитарных носилках. Кусочек стекла пенсне засел в коже надбровной дуги, и круглые, большие, бледно-голубые глаза безразлично глядели в потолок. Санитары раздели его и положили на операционный стол. Обнаженное мясо синими клочками свисало с плеч, со спины.

– Неплохо сделано, – сказал профессор после осмотра. – Но кости целы. Кто его так отделал, Луи?

Ассистент засучил рукава своей рубашки. В розовую кожу были вдавлены треугольные, коричневые шрамы.

– Похоже?

– То же самое, мальчик. Кастеты. Фирма?

– Полковник де ля Рокк, профессор.

– Вот как. Но Бержере вылечится. Как и вы.

– Да. Но вылечат ли эти побои господина Бержере?

Пава и древо

Анна Власьева кружевничала шестьдесят пятый год. Плотно обхватив сухонькими морщинистыми пальцами коклюшку, она ловко перекидывала нитку от булавки к булавке, выплетала оборку для наволочки – самое пустое плетение. Двумя парами коклюшек водила по кутузу, по кружевной подушке Анна Власьева. В молодые годы вертела она по триста пар коклюшек – самая знаменитая кружевница северного края. Давно уже не плетет Анна Власьева сердечки и опахальца, оплет и воронью лапку, стежные денежки и решетки канфарные – все, чем славится вологодское кружево: сцепное, фонтанное, сколичное...

Двадцать лет, как ослепла Анна Власьева, но, и слепая, ежедневно сидит она за кутузом – плетет для артели самый простой узор.

Род Анны Власьевны – кружевной род. Трехлетним ребенком играла она на повити «в коклюшки да булавки», а пятилетней посадили ее к настоящей подушке – «манер заучивать» – пусть попривыкнет вертеть коклюшками, да и рука пораньше тверже станет. А через год-два и дому помощь. К восемнадцати стала она первой мастерицей в селе, сама составляла узоры и «сколки» на «бергаменте», и Софья Павловна Глинская взяла ее к себе в усадьбу первой плетеей.

Тридцать две зимы просидела здесь Анна Власьева. Зимами только и плели: «Летом день длинен, зато нитка коротка», думы не кружевные, изба ведь не кружевами держится – землей. А какая изба – в окно только ноги прохожих видно. Анна Власьева плела только самое тонкое, самое хитрое кружево. «Иное плетешь тонко-тонко, в вершок шириной, поларшина в две недели сплетешь, да больше двух часов в день и плести нельзя – глаза ломит». Так Анна Власьева и ослепла – «темная вода» залила ее глаза. Анна Власьева вернулась в избу, перешла жить к старшей дочери. Мужа она давно схоронила, уж внучка – кружевница на выданьи и волосы у внучки мягкие-мягкие...

– Бабушка, ты спишь? Федя приехал.

– Не сплю я – замыслилась. Смеются, небось, бабы – Анна Власьева четырьмя коклюшками плетет. А того не помнят, сколько я знала. У нас на деревне, да, почитай, во всем крае только на скелотое кружево и мастерицы. А я знаю численное, когда надо нитки считать и узор сам собой повторяется – у Софьи Павловны петербургские знаменщики узоры-то эти чертили. Численное – это уже самое старинное русское, давно уж нет численниц-то нигде, а у Софьи Павловны только я одна была. Четырнадцать медалей Софья Павловна за мое кружево-то получила.

Знаю я и кружево сканое, шитое и пряденое понимаю. А на коклюшках-то все разумела: манер белозерской, балахнинской, рязанской, скопинской, елецкой, мценской – все знаю. По узорам-то и памяти моей не хватит считать: и рязанские-то павлинки и протекай-речку и ветки-разводы травчатые и бровки-пышки – города и вертячий край и гипюр зубьями... Калязинский манер цветами тонкий, паучки орловские, обачино ярославские, копытце да блины тверские – белевский окрок, – все знала. Но против нашего вологодского манера – никуда. У нашего нитка нитку за ручку ведет. Видала я у Софьи Павловны и баланжен плетеный французский и гипюр нитяный испанский. Не пришлось за нрав. Нет у них этой чистоты нашей – недаром вологодское кружево-то на «убрусы» невестам шло.

Ходка была я на работу-то, ходка. По полтиннику в день выработывала: зимами-то фунт керосину в коптилке сжигали. В полуден полоскаешь да чайку попьешь – очень мы чай любили да и сахару не жалели: когда вприкуску, а когда и вприглядку попьешь... И опять за коклюшки... А уж плетя была! Я на узком кружеве-то не сидела. Цельные платья выплетала я, тальмы, вуали, накладки, чепцы плела...

Старопрежнюю работу только и знали, что я да Угрюмова Пелагея, плетая наша, что в Петербург ездила. А только паву и древо мои и Пелагее не выплесть. Вятское это плетение, пава-то с деревом...

Но о «паве и древе» внучка слышала много раз – без малого двадцать лет рассказывает об этом узоре Анна Власьевна: «Только бы разок паву и древо выплесть, да и на кладбище. Не успела я дочек научить, не успела. Может, где теперь и плетут. Принесли бы, показали». И дочери приносили каждый новый узор матери. Анна Власьевна ощупывала кружево, нюхала, гладила пальцами. – Нет, не то. Далек до моих. – Где нам, маманя. Была ты первая коклюшница по Северу и теперь тебя так кличут. Анесподист Александрович, приемщик, недавно баил: «Твою бы матку, Настасья, в артель».

– То-то. Да и нитка толста. На такой нитке только к наволокам кружево идет...

– Бабушка, Федя-то доктор теперь. Распишемся мы и тебя возьмем. Работать не надо будет.

– Не из-за хлеба куска на артель верчу. Шестьдесят лет кружевничаю, разве отстанешь? Так с коклюшкой и помру. Сдавали сегодня?

– По первому сорту, бабушка.

– Мы кружевницы природные. Нам нельзя позориться. Ну девка, потревожила ты меня, – пойду досыпать.

– Чего много спишь, бабушка?

– Эх, внучка. Глаза ведь ко мне ворочаются. Во снах-то я ВИЖУ. Рожь, милушка, вижу – колос к колосу, желтую-желтую. Кружево вижу и Софью Павловну вчера видела – она меня коклюшкой в бок ткнула, когда губернаторше численное кружево я плела, да в счете ошибалась. А больше всего плету во сне пав и древо, что вы сплести не можете. Из моих-то пав, баили, сама английская царица мантилью сошила...

Анна Власьевна уже добралась до своей койки.

– Бабушка, не ложись. Мама идет, обед собирать будем.

Последнее время за обедом у Анны Власьевны было много беспокойства.

Она ворчала:

– Что это мне в отдельной тарелке? Или я заразная какая?

– Все так едим, маманя. Дай руку, покажу.

Волновалась:

– Что это вы каждый день мясо и мясо?

– Ешь, бабушка.

Или хитрила:

– Алексей! Как ноне рожь-то? Принеси колос...

– Зачем?

– Хлеб что ли у вас растет какой особенный?

– А что?

– Вот кровать с шишками купили...

Старуха завела привычку: оставаясь одна, она передвигалась по комнате и ощупывала новые вещи. Однажды оцупала большое зеркало и заплакала. Эта менявшаяся география избы тревожила слепую. Годами она двигалась уверенно, как зрячая, и вдруг натыкалась на гнутые стулья, на комод, на новый кованый сундук. «Оставьте угол-то мой в покое», – просила она детей.

– Хлеб да соль.

– Вот Федя, бабушка.

– Ишь, голос-то какой густой. Дьяконский. Ну, подойди, подойди, дай я тебя потрогаю.

Экие лапищи.

– Ну что, Анна Власьевна? Все пава за павой?

– Пава и древо, дурень. Пава за павой – иной сколок – проще...

Фёдор Карпушев, соседский сын, чтобы поразить будущих родственников, облачился в блестящий белый халат. По-московски любезничая, по-родному «окая», он усаживал старуху перед окном.

– Пожалуйста, Анна Власьевна, сюда сядьте... Повыше голову поднимите. Вы – мой первый пациент на родине.

– Пациент, – ворчала старуха, довольная почетом. – Пациент. Пахать надо. Фершал.

– Анна Власьевна, а вы врачей своевременно посещали?

– Чего?

– Вы глаза обследовали у врачей?

– Чего?

– В околотке, я говорю, бывала с глазами? – заорал Фёдор.

– В околоток-то ходила. Капли какие-то пахучие дали. Баили: табак бы нюхала, глаза-то и целы были. Да ведь не я первая. Кружевницы-то тонких узоров все глазами мучаются. Вот сноха-то Карпушева Ивана Павловича в Николин день...

Фёдор грохотал рукомойником.

– Знаешь, бабушка, твои глаза поправить можно. Операцию надо делать. Катаракт это...

– Полно брехать-то над старухой. У лавочника у нашего, у Митрия, катаракт-то в желудке был, ему Мокровской, дай господи светлой памяти, городской-то доктор, два раза резал, а все умер Митрий. Я ему так и говорила: все равно умрешь, черт, мало ты над кружевницами изгилялся. По 300 кружевниц на него работало.

– Да не рак, а катаракт, бабушка.

– Все одно...

Но старуху уговорили. Анна Власьевна пришла в благодушное настроение и допытывалась у Фёдора:

– А косить можешь?

– Мало я косил...

– Ну, тогда лечи.

– К профессору отвезем.

– А профессор твой – может косить?

– Не знаю. Не может, наверное...

– Ну, все одно... Вези. Только коклюшки я с собой возьму.

Фёдор увез старуху в Москву, а через два месяца написал, что операцию делал самый знаменитый профессор, что Анна Власьевна ВИДИТ. Потихоньку вертит коклюшками, а присмотреть за ней некому. Москва ей не понравилась: «не ослепнешь, так оглохнешь», и что через неделю думает он отвезти Анну Власьевну на Ярославский вокзал и посадить в поезд.

Но старуха приехала раньше, не вытерпела.

В стеклянный осенний день на полустанке вылезла она из вагона. Шофер закричал с грузовика:

– Садись, подвезу, бабушка. Тут ближе 10 верст нет деревень...

– Спасибо, сынок. Я и пешей дойду...

По тропке вдоль серых больших стогов дошла она до своей деревни. На околице хмурый бондарь стругал доски для огромного бака.

– Где тут Волоховы живут?

– Тут полсела Волоховых...

– Дом с красной крышей, баили...

– Тут полсела с красной крышей...

Обиженная Анна Власьевна с трудом добралась до своей избы: изба была почти в середине «порядка», а не с краю, как раньше. Дверь закрыта – хозяева в поле. Анна Власьевна

зажмурила глаза, нащупала щеколду, отворила. Вошла, оглянулась: кровать была совсем такая, как думала Анна Власьевна, а вот комод – нет: лак подался и замки какие-то легкие. Подошла к зеркалу, поджала губы: от годов-то никуда не уйдешь. А нет: старенькая, а румяная.

Анна Власьевна повернулась, открыла ящик комода и обомлела: кружево «пава и дерево», того самого хитрейшего узора, что когда-то сгубил глаза Анны Власьевны, что выплела она теперь в Москве артели в подарок, – было сложено в ящике комода аккуратными стопочками, приготовлено к сдаче.

Анна Власьевна охнула:

– Мамадя, мамадя, – испуганные дочери стояли в дверях...

– Чье плетенье? – строго спросила старуха.

– Поздравствуемся, мамадя...

– Чье плетение? – под ногой Анны Власьевны скрипнула половица.

– Наше, мамадя... Мы с Шуркой...

Старая кружевница улыбнулась.

– Такую красоту выплесть... Молодцы, бабы. Нет, не угаснет наш род... Скрыли от старухи уменье свое... Гордость мою кружевную хранили...

Анна Власьевна заплакала. Вытерла глаза маленькими кулачками, развязала дорожный узелок и достала свое плетенье. Взяла из комода работу дочерей, подошла к окну, сравнила...

– Я еще елку с оленем составить могу, – тихо сказала Анна Власьевна.

Маяковский разговаривает с читателем

Маяковского слышали, видели десятки тысяч людей. В заводских клубах, в дворцах культуры, в студенческих аудиториях Маяковский разговаривал со своим читателем. «На сотни эстрад бросает меня, на тысячи глаз молодежи».

Этот «разговор с читателем» в жизни и творчестве Маяковского занимает очень большое место. Между тем в том, что написано о Маяковском, именно эта сторона его жизни почему-то остается в тени. За исключением Л. Кассиля («На капитанском мостике» в «Альманахе о Маяковском»), никто не рассказал о «разговоре с читателем». Известно, что Маяковский хотел написать книгу о записках, подаваемых читателями во время выступлений поэта, хранил эти записки, сортировал. Книга осталась ненаписанной.

В прошлом году я сделал попытку записать кажущееся мне наиболее интересным из виденного и слышанного. Это мелочи, штрихи – на большее записи и не претендуют. За исключением первого факта, который рассказан мне бывшим работником Наркомпроса, все остальное я видел и слышал сам.

1922 г. Заседание в Наркомпросе по плакатам для азбуки – азбуки взрослых. Собраны лингвисты, почтенные, седовласые профессора в тяжелых золотых очках. Здесь же недоуменно пожимающий плечами Маяковский. Придумывают слова для азбуки: А – арбуз, атом; Б – блоха, берег... Маяковский молчит.

– Владимир Владимирович, ваше мнение?

– Арбуз? – задумчиво говорит Маяковский. – Блоха? – Бей белых! Вот что нужно для второй буквы азбуки!..

1926 г. Недели две до лекции Маяковского на диспуте в Мюзик-холле об есенинщине толпа «есенинских невест» сорвала криком и свистками выступление Н. Н. Асеева. Маяковский в Политехническом.

– Недавно не дали выступить против есенинщины одному моему товарищу. – Гул, крики: «И тебе не дадим. Долой!» Перекрывая обструкцию, гремит Маяковский с трибуны.

– Меня вы своим «долоем» с трибуны не сгоните. Всю лирику Есенина (зал затихает) я уложил бы в две строки бульварного ромansa:

«Душа моя полна тоски,
А ночь такая лунная».

Хохот. Аплодисменты. Маяковский, наклоняясь к микрофону:

– Товарищи радиослушатели! Слушайте, как аплодируют человеку, который выступил против Есенина. – Гул. Аплодисменты.

Вечер кончается. Записки.

– Читайте все!.. Зачем комкаете? Читайте все записки!

– Ищу жемчужных зерен.

1927 г. Клуб 1 МГУ. Диспут – «ЛЕФ или блеф». Маяковский – Полонский. Начало в 8, но только около 9 раздаются аплодисменты, и сквозь тесную толпу студентов, бросая шутки на ходу, проходит на сцену Маяковский. Восторженные аплодисменты. Маяковский садится к столу. Встает, выходит, опять садится. Полонского нет. Проходит минут 10–15. Крики: «Начинайте. Пора». Маяковский выходит:

– Начнем, пожалуй. Только вот Полонского и присных нет. От ЛЕФа-то явились, а вот от блефа никого нет.

1927 г. Зал Политехнического музея шумит на вечерах Маяковского. Лекция «Дашь изящную жизнь».

– Я – за кружевные занавески на окнах рабочих квартир, – начинает Маяковский. – Я за канарейку в комнате рабочего! Мещанство – не в вещах, мещанство в людях! Мещанство – вот в этой папке! – Из огромного портфеля вытаскивает Маяковский «революционный» романс Музгиза «А сердце-то в партию тянет». – Внимание!

«У партийца Епишки
партийные книжки.
На плечиках френчик, ах, френчик, френчик,
Голосок, как бубенчик, бубенчик, бубенчик».

Вот полюбуйтесь! Бубенчик! Епишка, у которого партийные книжки. Не книжка – партбилет, а книжки. Вам смешно? А тут не один смех слышится. Этот бубенчик звенит в том, что «на плечиках френчик». Откуда этот френчик на плечах? Такие френчики носили господа офицеры – на плечах.

Вот с чем нужно бороться. Против этого контрреволюционного «бубенчика», за изящную жизнь, за красивую жизнь, которую мы вплотную начинаем строить.

Переходим к стихам:

«Делами,
кровью,
строкою вот этою,
Нигде
Не бывшею в найме,
Я славлю
Взвитое красной ракетой
Октябрьское
Руганое
И пропетое
Пробитое пулями – знамя!»

Аплодисменты всего зала.

На заводе

По утрам Лена глядела в зеркало с ненавистью. Зеркало честно и без всякого сочувствия отражало скошенный подбородок, вздернутый нос, кустами какими-то растущие брови. Да, некрасива, некрасива. И ничего тут не подделаешь, разве снова родиться. Вот быть бы такой, как Паня Шпагина – первая красавица на все ФЗУ. Сейчас за ее станком – шум, смех, всякий кто пройдет мимо – улыбнется, заговорит. А на Лену никто не обращает внимание, разве только по делу...

– Эй, Фёдоров, кому сдавать смену?

– Вот тебе сменщик.

– Я станок Игнатову не сдам, Павел Иванович.

– Это почему?

– Поломает. Пусть ФЗУ кончит, тогда и к станку идет.

– Не глупи, Казакова. Не век же ему тележки возить. В техкружке Игнатов занимался. В остальном ты подучишь. Ты ведь у нас профессор по фрезерной части.

– Как учить, так профессор, а как фотографа в цех звать, так Шпагину снимают. Красивых ищите?

– Ревнует. А к кому ревнует? К парню?

– Нет, к газете, к станку.

– Ребенок, право, ребенок, – сказал мастер.

– Ну, Петька, придется мне, видно, остаться. Лекцию тебе читать. Становись вот сюда. Вот деталь. Номер ее 6017. Работать ее надо быстро. Начинай, показывай, чему вас на кружке учили. Поправлять буду.

– Грязно тут у тебя, Лена...

– Стружка, тряпка – это не грязь. Во всех цехах так. Чище нельзя, не дома.

Игнатов оказался способным учеником, а Лена – «профессором», и вскоре не стало надобности в учебе после смены.

Игнатов принес газету. Заводская многотиражка писала о нем – чернорабочем, ставшим квалифицированным фрезеровщиком.

Лена прочла газету и скомкала ее.

– Как ты ни работай, лучше меня работать не будешь.

– Посмотрим.

– Разве станок мой испортишь.

– Станок-то у нас один. Да и радость не в этом.

– Верно. – Лена досадливо откинула волосы со лба. – Вот что, Петька, ты учись скорей. А я уйду с завода. Работаешь, работаешь и никто на тебя внимания не обращает.

– В расчетной ведомости небось обращают...

– Да разве мне деньги нужны?

– Боишься меня. Училась, училась, а пришел Игнатов, два месяца проработал и сделает теперь больше, чем ты.

– Ты каждый день сдавай столько...

Так началось молчаливое соревнование сменщиков.

Паня Шпагина, свесив ноги в черных лакированных туфельках с подоконника клуба, болтала с подругами:

– Ненавижу его, рыжего летчика. Видеть не могу, а каждый вечер встречаюсь. Тянет. Целую и думаю: хоть бы погиб, проклятый...

– Влюбилась, влюбилась, – захихикали подруги.
– Вот странно, – сказала Лена, отрываясь от книжки. – Я так же с Петькой Игнатовым. Не от любви. И не целовала. А ненавижу.

– Влюбилась, влюбилась, – захохотали подруги.
– Эх ты, принцесса от станка, – засмеялась Шпагина. – Дай-ка книжку. Так и есть. «Фрезерные станки». Брось ты эту премудрость.

– Дайте мне, – сказала Лена библиотекарше, – что-нибудь поинтереснее.
– Вот «Кавказский пленник». Про любовь.
– Возьму, – сказала Лена. – Почитаю про любовь. Может, красивой стану.

– Петька, я хорошую книгу прочла. Сочинение Толстого «Кавказский пленник».
– Я читал эту книгу. – Игнатов снимал спецовку. – Что тебе здесь понравилось?
– А вот где о черкесах говорится, что были они бедны, а оружие у них дорогое, сверкает.
– Ну?
– Думала я о нашем с тобой оружии, Петька. Грязен станок. Инструмент надо полчаса искать в тряпках, в щепках. Чистить буду. На сколько сегодня?

– На сто шестьдесят процентов.
– И все на «отлично»?
– Не все, но много. Не подсчитывали еще...
– Не верь ему, Казакова, – сказал Горлов, фрезеровщик-сосед. – Игнатову счастье. Он с бракерошницей из контрольного перемигнулся. Она ему и метит: «отлично». А деталь – хуже моей.

– Не ври, – резко оборвала Горлова Лена. – Я сама смотрю. Игнатов хорошо работает. Завидки берут?

Горлов ушел.

– Сплетня. Ты, Петька, не слушай Горлова. Первый шептун по заводу.
– У меня, Лена, для тебя чтение. – Игнатов вынул помятую газету.
– Опять про тебя? «Вчерашний чернорабочий...»
– Нет, Лена. Читай-ка.

Лена прочла заметку о шахте «Центральная – Ирмино», об Алексее Стаханове.

– Понимаешь? – Игнатов был серьезен и весел.
– Понимаю, – сказала Лена медленно, – мы не хуже угольщиков.
– Думай, Лена.

Две ближайших недели Лена работала особо внимательно и напряженно. Станок шел без единой неполадки, но больше 160–170 процентов нормы Лена сделать не могла. Игнатов за это время вырабатывал 120–140 процентов, часто останавливал станок, разглядывал фрезы. Однажды, принимая смену от Казаковой, сказал: «Если интересуешься – зайди к концу смены».

Лена видела, что Игнатов взволнован чем-то важным, отказалась от театра, куда был куплен билет, и пришла в цех. Толпа рабочих и инженеров окружала станок. Гора готовых деталей высилась около станка. Прогудел гудок. Игнатов остановил станок и молодежато поправил галстук.

– Сколько? – спросил он. – Четыреста десять процентов, – ответил Гринце, начальник цеха. Лена рванулась к станку. Сразу все зашумели, заспорили. Игнатов объяснил: «Им изменен технологический процесс, он режет детали не по инструкции. Увеличена скорость резания. Нужная глубина резания, при увеличенной скорости, достигается вместо двух одной фрезой».

– А фреза? – кричал начальник цеха, наступая на Игнатова. – Фреза ступится, а экономичность...

– У меня подсчитано, – сказал бывший чернорабочий инженеру, вынимая засаленный блокнот. – Вот расчет. Фреза тупится очень медленно. Можно сказать, она сохраняется лучше, чем при прежней скорости.

Мастера с сомнением качали головами. Игнатов побледнел.

– Две недели проверяю, – крикнул он. – Ведь детали-то – вот. – Он показывал на горку деталей, переводя глаза с одного лица на другое, и вдруг задышал трудно и коротко.

– А ты, Лена? – Он с надеждой посмотрел на сменщицу.

– Я согласна с товарищем Гринце, – сказала она. – Фрезы затупятся.

Игнатов нагнул голову.

– Пойдем в партком, – сказал он хрипло и двинулся к выходу, одевая пиджак и никак не попадая в рукав.

Техническое совещание, созванное парткомом, подтвердило правоту Игнатова.

– А теперь, – сказал фрезеровщик, – я беру шефство над Казаковой.

– Учить меня будешь? – едва выговорила Лена.

– Не кусай губы, Лена, не гордись. Немного обиды на начальника цеха, немного обиды на мастера. Много обиды на тебя. Давно с тобой работаем. Станок любишь. Могла бы понять...

– Лощишь? Все равно лучше тебя буду работать. И с парашютом буду прыгать. И в хоккей играть. И шефство над тобой возьму.

– Вот это дело. А одной фрезой резать попробуешь?

– Попробую, – и Лена засмеялась.

Заводская газета выпустила «молнию». В ней было сказано, что фрезеровщица Казакова вызвала стахановца фрезеровщика Игнатова соревноваться на лучшую работу. Лена прикрепила газету кнопками к шкафчику с инструментами, обвела заметку синим карандашом. Игнатов улыбался, принимая смену. На инструментальный шкафчик Лена постлала белую клеенку. После одной смены, когда Казакова дала 500 % нормы, рабочие поставили на шкафчик большой букет цветов, из дома Лена принесла метелку, зеркало.

– Хозяйка, – говорил Павел Иванович, почтительно похлопывая Лену по плечу. Горлов косился на станок Лены: чистюля. Работала три года, все чисто было, а теперь вдруг – грязно. Клеенку белую постлала.

– А как же, – смеялась Лена, – не дома.

– Ну что, – сказала Паня Шпагина, – ругала Игнатова, а теперь сама за ним тянешься?

– Дура, – ответила Лена, открыла сундук, достала открытые туфли. Туфли, цвета беж, были куплены давно, но одевать их как-то не было охоты.

– Буду носить на работу, – сказала Лена удивленным подругам.

– Петька! Ты сколько сделал?

– Сразу шесть деталей двумя фрезами. 1400 процентов. – Шутка?

– Можно больше.

– Ну?

– Вот так поставить, – можно восемь деталей сразу делать.

Теперь уже Игнатов дожидался с нетерпением конца смены.

– Сколько? – спросила Лена, покусывая мизинец.

– Две тысячи сто процентов, товарищ Казакова, – ответил технический директор завода. – Ни одной отметки ниже «хорошо».

Игнатов в восхищении тряс за плечи сменщицу.

– Маникюр сломала, вот как спешила, – сказала Лена.

Лена сходила с трибуны заводского митинга. Технический директор потянул ее за рукав.

– Сколько вам лет, товарищ Казакова?

– Двадцать два.

– Молодец! Глаза блестят! А волосы? – Чистое золото. Красавица, красавица... Поздравляю.

Вторая рапсодия Листа

В городе не было своего сумасшедшего. Эту штатную городскую вакансию 10 лет занимал вшивый звонарь Кузя. Когда-то у звонаря утонул сын, и с тех пор Кузя считал воду – блевотиной дьявола. Он отказался от мытья и не ходил в Заречье. Он шептал голубоглазым встречным: дьявол плюнул в глаза ваши. Он трижды крестил стакан перед чаепитием. Кормили Кузю черноглазые и кареглазые лавочники. Недавно Кузя умер, и горожане приглядывались к старику в вытертой, блестящей крылатке, раздумывая, не определить ли его в сумасшедшие.

Мальчишки давно уже бегали за ним и кричали: чижик, чижик. Давно, когда еще не родились старшие братья этих мальчишек, старик был учителем музыки. Кличку «чижик» придумали не дети. Умирала жена старика, он выменял пианино на масло и выписал профессора из Москвы. Жена умерла, и старик поступил тапером в кинематограф. Между двумя сеансами «Сказки любви дорогой» таперу подали конверт с лиловой расплывчатой печатью. Командир полка извещал, что оба сына старика, красноармейцы, погибли в бою, как герои. Старик аккуратно уложил бумагу в конверт и сел к роялю. Но в самом патетическом месте он заиграл чижика. Сеанс окончили без музыки, и заведующий кинематографом весь вечер, как мог, утешал старика. Через неделю заведующий его уволил. Райвоенкомат выхлопотал старику пособие.

Каждое утро огромный, с отечным лицом, тяжело дыша, он шел через город, опираясь на палку. Львиные головы – застежки крылатки – сверкали. Старик ежедневно чистил львиные морды мелом. Он двигался мимо вырубленных на дрова садов, мимо коз, объедавших афиши о мобилизации, мимо чахлах огородов, обнесенных колючей проволокой, мимо церквей, еще не переделанных в кинематографы и яростно вздымавших к небу измятые груди своих куполов. Он шел на рынок.

Рынок был переименован в «Площадь борьбы со спекуляцией». Там велась борьба со спекуляцией. Раз в неделю взвизгивали свистки и рыночные торговки. За заборы домов летели гимназические пальто, мешки махорки, самосадки и матросские тельняшки. За ними прыгали сущие и будущие владельцы вещей. В подворотне прятался попугай, который вытаскивал счастье.

И на опустевшем рынке, посреди раскрашенных табуреток и граненых деревянных волчков – рулеток рыночного Монте-Карло – «за пять – двадцать пять, за двадцать пять – сто двадцать пять. Ответ до двух миллионов» – неподвижно стоял огромный грустный старик. Его история была известна всему городу, и даже милиция не забирала его при облавах. И когда однажды молодой агент розыска, рьяный коллекционер Картеров и Пинкертонов доставил старика к своему начальнику, – тот спросил: «А зачем привели этого... Листа?..» Опять же не начальник угрозыска придумал эту кличку. Старик продал пианино, но сохранил граммофон. Он был первым человеком в городе, купившим граммофон. Еще давно, когда жена и дети были не только живы, но и веселы, он заводил граммофон каждый день. Под окнами квартиры собирались гимназисты, сидельцы, пожарники и кухарки, – старик развлекал город. В год войны он купил пластинку, которая стала любимой в семье. Это была вторая рапсодия Листа. Игралась она только дважды – в спешных сборах старшего сына на фронт пластинку смахнули со стола, разбились. Старик не мог повторить этой гордой, могучей и молодой мелодии, но он помнил ее именно такой.

Вечерами старик выносил на улицу стул. Глядя на узкую зеленую полоску зари, он вспоминал жизнь. Он чувствовал, что какое-то счастье выскользнуло из его рук и разбилось. Он вспоминал сыновей и напевал два-три запомнившихся такта рапсодии. Не было ни рапсодии, ни сыновей. Серая пыль неслышно ложилась на ботинки старика.

Постепенно он стал думать больше о рапсодии, чем о сыновьях и жене. Старик думал, что Лист вернет ему семью. Он стал искать пластинку. Он возобновил старые, заводил новые знакомства. Кряхтя, он склонялся над «развалами» старьевщиков и рыночных торговков. Он искал мучительно долго – может быть, тысячу дней. Так город узнал о существовании Листа и его рапсодии.

Как-то в сырой и ветреный осенний день он нашел пластинку. Он задышался от счастья. За пластинку просили кило сахару. Это было сумасшедшей ценой, но продавца предупредили, что и покупатель – сумасшедший. Старик волновался. Он предлагал кирпичный чай, копию Рубенса, сапоги. Сахару в городе не было. Старик боялся потерять рапсодию. Он умолял хозяина пойти в квартиру и выбрать вещь в обмен. Продавец отказался. Старик умолял подождать – он побежал бы домой, попросить сахар у соседей. Продавец согласился. Старик заковылял к дому. Горячий и потный, через два часа он вернулся на рынок. Сахару он не достал. Хозяин пластинки исчез. Старик сел на камень и заплакал. Его отвел домой учитель математики единой трудовой школы. На рынок он больше не выходил. Через два дня учитель математики нашел его в бреду – старик простудился. Он бредил рапсодией. В углу комнаты стоял старинный граммофон, окруженный горой разломанных пластинок. Учитель побежал за доктором. Пришел веселый доктор, тот, у которого разбежались сумасшедшие. Он приехал год назад в город врачом в психиатрическую больницу, но пьяный сторож разогнал всех сумасшедших и некому было их собирать. Они исчезли. Доктор стал терапевтом. Тогда венерологи лечили испанку, аптекари делали трепанацию черепов. Доктор поставил термометр и покачал головой.

– Поправимся, папаша, – бойко сказал он. – Аспиринчик...

– Рапсодию, – прохрипел старик.

– Что...

Математик рассказал историю старика. Доктор с интересом поглядел на больного. Вздутый живот старика трепетал.

– ...Лист... – выговорил старик, плача, – Лист... – и он молитвенно сложил тяжелые синие руки. Судорога страдания бегала, как молния, по его лицу.

Доктор пришел утром. Безнадежные покрасневшие глаза учителя математики робко смотрели на него. Доктор держался, как фокусник. Он вытащил из рукава термометр. Он пощупал пульс. Старик был в полном сознании и молчал.

– Папаша, – сказал доктор, отскакивая от кровати и торжествуя, – вторая рапсодия Листа, – и вынул из-за спины черный крут. Грузное дыхание старика прервалось. Он широко раскрыл глаза. В мелких конвульсиях вздрагивало его тело. Доктор завертел ручку граммофона и бережно вытер пыль суконного круга. Он поставил пластинку и толкнул рычажок. Игла зашипела и такты вальса «На сопках Манчжурии» вскинули учителя математики с кресла. Он бросился к граммофону, но доктор загородил ему дорогу. Учитель вцепился в плечи доктора.

– Что – вы, – в горле учителя булькало и крупные капли пота выступили на его лбу.

– Ну-ну, – сказал доктор, обрывая осторожно руки учителя от своих плеч. – Полегче. Вы только математик.

Лицо старика светлело. Тяжелые складки морщин медленно расходились. Он улыбался. Легкая веселая пена пузырилась на губах старика.

– Лист! – шептал он, – Лист...

Карта

В предгрозе, в тишине был слышен хруст малинника. Малинник ломали медведи. Степан Петрович знал это по легкому похрапыванию стреноженных коней, по поднятым их ушам, по робкому визгу Роланда, лайки. Степан Петрович посмотрел на бегущие быстрые тучи, недовольно потрянул седой большой головой. Он надел тяжелые золотые очки и развернул роман Поль-де-Кока, старую, бережно подклеенную французскую книжку. Сегодня воскресенье, день воспоминаний, день французского языка. Не читается. Разве прочесть Библию, тоже французскую, ту, которую оставил мосье Рейно? Что-нибудь о патриархах? Степан Петрович скривил губы. Он сам был патриархом. Вот его дети: беловолосые, в синих холстинных армяках. Они валят лес, ходят за куницей. Они не знают французского языка. Вот внучата: пасут скот, ловят рыбу. Они вовсе неграмотны: на 100 верст кругом нет школы. Нет ее с 1910 года, когда взорвали рудники, доменные печи, каменные дома: школу, больницу, поселок, склады; разобрали узкоколейку. Ребятишки играют в прятки в обломках, в руинах металлургического завода, затянутых таежной зеленью.

Ветер свистит, качая верхушки елей. Накапывает дождь. Степан Петрович захлопывает Поль-де-Кока. Богатая была концессия. В таежной глуши бельгийские инженеры, бельгийские хозяева откупили у царского правительства право добывать чугун, сталь. По крутой, быстрой горной реке опускались баржи – «шитики», груженные рудой. Обрато вверх караваны пустых шитиков поднимали лошадьми. Немалую прибыль имели бельгийцы и не от одной железной руды. Тайком здесь, в тридевятом царстве, рыли золото, платину, Степан Петрович старый разведчик, «золотарь» знал это, и бельгийцами был обласкан. Весело жили. Две тысячи рабочих было здесь. В здешнем ресторане, в тайге, пели певчие из шантанов Вены. Все прошло и... тайгой поросло. На краю огромной, длинной ямы, которую мосье Рейно, главный инженер, назвал «экспериментальной открытой разработкой чугунной руды», сидит бурый ястреб. Да, бельгийцы делали тут большие денежки. В 1910 году кончался срок концессии. Русские промышленники завидовали бельгийской удаче. И догадывались о золоте. Царское правительство не продлило концессии. Тогда бельгийцы взорвали все: печи, рудники, поселок – все, не оставив камня на камне. И ушли. Вслед за ними ушли рабочие. Жизнь кончилась. Остался только Степан Петрович. Он ждал прихода русских промышленников, он хотел продать им свои знания и еще кое-что, далеко и глубоко спрятанное. Русские промышленники медлили. Затем началась война с немцами – этой войне с врагами бельгийцев Степан Петрович глубоко сочувствовал.

Из большой семьи Степана Петровича никто не ушел на войну. Тайга закрыла выселок от рекрутского набора. Рождались дети, женились сыновья – выселок рос. По тайге прошли белые банды, остатки разгромленных армий Колчака. Степан Петрович читал Библию и Поль-де-Кока. Прошли красные, партизаны, и с ними увязалась младшая, любимая дочь Степана Петровича – Анка. Потом всю семью вызвали в поселок, и по таежным тропам, на конях верхом приехала семья Степана Петровича в сельсовет. Степан Петрович послушал рассказы о новой власти, вернулся к себе и раскрыл Библию. Он не поверил власти. Сыновья возили лес, привозили муку. Умерла жена, утонул сын, Степан Петрович похоронил их без попа, сам вытесал кресты. Он ловил рыбу и читал французские романы. Однажды зимой в выселок Степана Петровича пришел на лыжах молодой геолог. Он послан вести разведки. Он знает, что Степан Петрович единственный старый житель этих мест, служивший на бельгийской концессии, да еще старым разведчиком. Не расскажет ли Степан Петрович, что знали бельгийцы об этих местах? Вот он привез письмецо, которое порадует Степана Петровича. И гость протянул старику конверт с письмом Анны. Степан Петрович побледнел. Анна не погибла. Анна стала инженером, инженером-геологом и скоро будет здесь, у отца. Степан Петрович вложил письмо обратно

в конверт. Женщина-инженер? Он недоверчиво покачал головой. Жена инженера? Нет, нет, Анна Степановна сама инженер, хороший инженер. Старик почему-то обиделся и на расспросы геолога о бельгийцах решительно отмалчивался. Геолог уехал, и Степан Петрович остался один со своим волнением. Он знал много. Он не сказал геологу ничего. Может быть, старик стоит за шаг от богатства? Надо посмотреть – каковы будут новые хозяева? Какова будет дочь.

Сегодня дочь приезжает. Степан Петрович нахмурил брови. Гроза! Как, с кем она, горожанка, сквозь ливень, через бурные реки? Старик одел холстяной, промасленный плащ, надвинул капюшон и пошел к реке. Исхлестанный до пузырей плетью дождя живот реки тяжело вздувался. Река, дрожа, бежала вниз – туда, где не было этого мокрого наказания. Загнанная, исполосованная ветром и дождем, река хваталась за прибрежные камни, ворочала их, обрывалась и убегала дальше, разбрасывая на камнях слюну. Степан Петрович, улыбаясь, смотрел на рябую реку. Все отгремит, отшелестит. Сегодня же все будет в берегах. Гроза стихала, и радуга, упираясь одним концом в скалу, а другим уходя в нагибающиеся к горизонту тучи, горбилась над тайгой. Дождь затих внезапно, брызнуло солнце, запели птицы, и на другом берегу из прибрежных кустов вышла девушка, держа в поводу лошадь.

* * *

Девушка стоит, щурясь от большого солнца, и глядит на сверкающую зелень родины. Солнце играет на мокрой кожаной куртке, в каплях, забившихся в желтые пышные волосы, примятые кепкой. Солнце играет на боках лошади, на еще волнующейся реке. Деревья расправляют плечи, земля поднимает к небу сияющие травинки. Девушка вспоминает детство, четыре времени года. Откуда они приходили? Весна – с тех оврагов, у которых почернеют бока, откроют хилую прошлогоднюю травку. Осень приходила из березовой рощи – хрупкими желтенькими листочками; это – предупредительные письма осени. А за рощей растянется узкая зеленая заря. Зима шла от реки, от тонких ледяных кружев, которыми оденутся прибрежные камни по утрам. А лето? Откуда приходило лето? И не додумав, девушка поднимает голову. Ломаная линия горизонта намечена цепью гор. Эта диаграмма, эта кривая вычерчена еще в ледниковом периоде, и тысяча лет не прибавит и не убавит ни одной черты на этой диаграмме. Тысяча лет! Так говорил отец. Посмотрим, нам дана годичная командировка, чтобы переделать этот чертеж. И девушка идет вперед и тянет повод лошади.

* * *

Долбленую из ствола дерева лодку «осиновку» перегоняет через реку сын Степана Петровича. Брат и сестра здороваются за руку. Анна Степановна расседлывает лошадь. Седло и вьюк втаскивают на лодку, лодка движется вопрекор течению, и за лодкой на поводу плывет лошадь, задирая вверх морду. На берегу суетится Степан Петрович. Дочь целует седые, густые усы старика, и по мокрой траве они торжественно идут в избу. Степан Петрович отпирает «горку», достает старые неприкосновенные бельгийские чашки. На сковороде шипит хариус – горная рыба необычайного вкуса, в переднем углу чадит лампадка перед резным киотом, и Анну Степановну обступает детство. Полати, на которых было так тепло спать, пахнущая кожей сбруя на стене у двери: Анна Степановна, Анка, в изнеможении бросает руки на стол, опускает голову и засыпает. Теплые руки отца гладят Анкину голову.

* * *

Разведочная группа Анны Степановны приступила к работе. Старик бродил от вышки к вышке, приглядывался к шурфам, качал головой. И однажды, плотно притворив дверь, он положил руки на плечи Анны Степановны.

– Слушай, Анка! Во сколько обойдется вам вся разведка? Всей экспедиции? Вся подземная карта?

– Не знаю. Тысяч пятьдесят, я думаю.

– Большое дело задумала, дочь. Слушай, Анка, я знаю эту землю. Я сторожу ее сокровища двадцать лет. Здесь есть ванадий, цинк и вольфрам, здесь горбатые железные горы – руда на восемьдесят процентов железа; здесь золото, платина. Здесь богатство – мое и твое. У меня есть подземная карта – 10 лет работали бельгийские инженеры, чтобы составить ее. Я украл ее у бельгийцев. Я спрятал ее. Я уже стар. Кому оставлю? Сыновьям? Они знают только кубометры древесины, куньи шкурки. Я дам карту тебе, и ты продашь этот чертеж за тридцать тысяч. Двадцать тысяч барышу для «власти», а? Ты получишь богатство, славу, Анка.

Анна Степановна сняла дрожащие руки отца со своих плеч.

– Славу? Какую славу? – сказала она и крупные капли пота выступили на ее лбу.

– Отдай нам карту, отец! Мы выстроим здесь, в тайге, солнечный город, Советский Клондайк! Страна, наша страна богата! Ты сделаешь ее еще богаче, отец. Кстати – сегодня мы открываем школу, отец. Надо послать племянников.

– Я сам хочу стать богаче, – сказал старик и освободил свои руки из рук дочери. – Карты я вам не отдам. – Анна Степановна вышла. С тех пор работы шли своим порядком.

Анна Степановна перешла жить к племяннику, а старик уже не ходил смотреть на буровые работы. Так прошло лето, по первому снегу уехала Анна Степановна. Прощание отца с дочерью было теплым. Но что-то не было сказано, и оба отводили глаза в сторону. Весной Анна вернулась, и работы вновь начались. Степан Петрович постарел за один год так, что уже не мог ходить без палки. Он никуда и не ходил. Он каждый день, а не по воскресеньям, как раньше, читал Поль-де-Кока и Библию. Осенью его пригласили в клуб – большая изба была клубом. Там оркестр из двух мандолин и гитары непрерывно играл туш и за столом президиума, крытым кумачом, сидела Анна Степановна. Вся экспедиция и много жителей ближних деревень были тут. Люди толпились около избы, но перед Степаном Петровичем расступились, и он прошел в первый ряд. Из рук в руки бережно передавался затертый номер газеты. Там было напечатано постановление правительства о награждении Анны Степановны орденом и ее портрет. Старик понял, что почет, которым окружала его толпа, был почетом дочери. Ее свет падал на Степана Петровича. Говорились сильные нескладные торжественные речи. Это был первый орден в крае, и в президиуме собрания сидели с ромбами, сидел сам председатель крайисполкома, как сказали Степану Петровичу («губернатор» – догадался старик). Степан Петрович был ошеломлен. Когда аплодисменты и крики подняли с места Анну Степановну и она, запинаясь и краснея, благодарила и обещала работать еще больше, еще лучше, – старик вытер слезы кулаком и ушел из клуба.

Всю ночь он просидел у окна и дождавшись, когда поблекли звезды, взял топор и тихо вышел из избы. Он положил топор в лодку, принес лом, лопату, сел в осиновку и оттолкнулся шестом от берега. Он опустился вниз по течению к большой скале с пещерой. Солнце стояло высоко, когда старик вернулся. Сыновья уже искали отца. Ни на кого не глядя, он пошел к палатке Анны Степановны. Откинув полу палатки, он протянул дочери сверток с сокровищем – с подземной бельгийской картой.

Анна Степановна стояла высокая, прямая и бледная и руки ее дрожали, принимая сверток.

– Отец, – сказала она срывающимся голосом, – мы составили уже такую карту. За это мне и дали орден.

* * *

Степан Петрович всхлипывал, обняв голову дочери, и желтое вьющееся пламя волос выбивалось из старческих пальцев.

В зеркале

Случайной пулей, на улице, девочке прострелили ногу. Девочку не сразу подняли и отвезли домой, она долго лежала на снегу, стонала, началось воспаление легких. Сейчас кризис прошел, понемногу возвращался мир – отец, мать, вещи. Девочка лежит в гостиной, большой комнате с окнами на три стороны. Кровать поставлена сбоку огромного старинного зеркала-трюмо. В зеркале видна вся комната и освещенный коридор, ведущий вглубь квартиры. Недавно большую дверь из коридора разломали на дрова, и жить стало еще интереснее – мир расширился. Девочка наблюдает в зеркало жизнь мира. Хлопает дверь в конце коридора, и к девочке, вырастая и ширясь, двигается женщина. Она втаскивает с собой упругий весенний воздух. Затем воздухом весны пахнет уже из угла комнаты, где брошено пальто. Девочка закрывает глаза и чувствует знакомые шелковые руки матери. Неторопливо движется фигура отца. Вот он в комнате около буфета, снимает очки, протирает их платком. Он – в коричневом костюме, и в зеркале видно только лицо, руки, платок. Цвет костюма сливается с цветом дубового буфета. Вот широкая ласковая рука отца. Добрый голос рассказывает о скворцах, маленьких темно-лиловых скворцах. Скворцы уже в скворечнях, которые в прошлом году сколачивал отец. Вот он поднимает руку, чтобы взять с полки том энциклопедии. Какую руку поднял отец – правую или левую? Зеркало путает глаза, уши, руки, ноги. Не сразу угадаешь в зеркале, какую руку поднял отец.

Но самое главное, – все плоское. Отец, мать, буфет, письменный стол – все как на картинке.

Вечер. В зеркале видно, как начинают прятаться вещи. Сначала со стен сбегает картины. Отступает в темноту книжный шкаф, стулья. Вот уже нет письменного стола. Спрятался буфет и только по бликам света на стеклах видно, что буфет тут, близко. И успокоенная, девочка засыпает.

Просыпается она внезапно. В дверь негромко стучат, в зеркале видно, отпираться выходит отец. Он одет, как всегда – должно быть не раздевался. Дверь открывается, и в квартиру, шатаясь, входит человек. Отец подхватывает его под руку. Человек с трудом снимает солдатскую папаху, открывая забинтованную голову. Он поднимает лицо к лампочке, и лицо, заросшее рыжей щетиной, ярко-голубые глаза кажутся девочке знакомыми. Где она видела этого человека? Четыре месяца назад, когда еще можно было ходить кататься на ледяную горку и когда дверь в коридор была еще цела, этот человек приходил к отцу часто. Они подолгу сидели здесь в большой комнате, девочку отсылали играть в комнату матери. Однажды рыжий передал отцу большую пачку денег, и девочка думала, что завтра на обед будет мясо. Но мяса не было. Последний раз рыжий приходил недели за две до того дня – до выстрела в переулке, когда из рук девочки выпал хлеб и в глазах остались только снег и небо. Он подарил девочке маленькую жестяную коробочку с леденцами, очень вкусными леденцами. Тогда отец и рыжий поцеловались в коридоре, хлопнула дверь и рыжий ушел. Теперь он пришел снова. Отец обнимает его и ведет в боковую комнату. Тихо. Крадучись, в коридор выходит отец. Он берет трубку телефона. Негромкий, короткий разговор. Выходит мать, непричесанная, в капоте. Взявшись за руки, они уходят в комнату, где сидит (или лежит) рыжий. Тихо. Снова стучат резко и настойчиво. Коридор наполняется людьми... они в серых шинелях с золочеными погонами. В таких шинелях ходят теперь по городу люди, на которых смотрят из окон, слегка раздвинув занавески. Недавно они зачем-то приходили, и с ними ушел отец. Отец вернулся поздно ночью и долго целовал девочку. Сейчас они стоят молча, вопросительно глядя на отца. И отец показывает рукой на комнату, где лежит (или сидит) рыжий. И разом гремят шпоры и сабли – люди входят в комнату. Через несколько минут под руки выводят рыжего. Он очень слаб, его приходится почти нести. Один из людей, одетых в шинели, пожимает отцу руку. Дверь закрывается.

И тогда девочка сползает с кровати на пол. На руках она подвигается к письменному столу и берет тяжелое, чугунное пресс-папье. Пресс-папье оттягивает руку. Девочка подползает к зеркалу и швыряет пресс-папье в стекло. Потемневший мир сразу становится спокойнее и честнее. Силы оставляют ее, и она лежит среди осколков, всхлипывая. Она отталкивает ласковые руки отца. «Оставьте меня, оставьте».

– Положи ее на кровать, – говорит голос матери, – и оставь. Может быть, так будет лучше.

– Да, – говорит голос отца, – она живет в такие годы, когда даже взрослые сходят с ума.

Тихо. И снова голос матери:

– Он теперь далеко... Но ты... как ты мог решиться?

– Пустяки, – отвечает отец. – Эта комедия... эта трагедия с переодеванием в офицерские костюмы была единственным путем спасения нашего друга.

Колымские рассказы

По снегу

Как топчут дорогу по снежной целине? Впереди идет человек, потя и ругаясь, едва переставляя ноги, поминутно увязая в рыхлом глубоком снегу. Человек уходит далеко, отмечая свой путь неровными черными ямами. Он устаёт, ложится на снег, закуривает, и махорочный дым стелется синим облачком над белым блестящим снегом. Человек уже ушел дальше, а облачко все еще висит там, где он отдышал, – воздух почти неподвижен. Дороги всегда прокладывают в тихие дни, чтоб ветры не замели людских трудов. Человек сам намечает себе ориентиры в бескрайности снежной: скалу, высокое дерево, – человек ведет свое тело по снегу так, как рулевой ведет лодку по реке с мыса на мыс.

По проложенному узкому и неверному следу двигаются пять-шесть человек в ряд плечом к плечу. Они ступают около следа, но не в след. Дойдя до намеченного заранее места, они поворачивают обратно и снова идут так, чтобы растоптать снежную целину, то место, куда еще не ступала нога человека. Дорога пробита. По ней могут идти люди, санные обозы, тракторы. Если идти по пути первого след в след, будет заметная, но едва проходимая узкая тропка, стежка, а не дорога, – ямы, по которым пробираться труднее, чем по целине. Первому тяжелее всех, и когда он выбивается из сил, вперед выходит другой из той же головной пятерки. Из идущих по следу каждый, даже самый маленький, самый слабый, должен ступить на кусочек снежной целины, а не в чужой след. А на тракторах и лошадях ездят не писатели, а читатели.

⟨1956⟩

На представку

Играли в карты у коногона Наумова. Дежурные надзиратели никогда не заглядывали в барак коногонов, справедливо полагая свою главную службу в наблюдении за осужденными по пятьдесят восьмой статье. Лошадей же, как правило, контрреволюционерам не доверяли. Правда, начальники-практики втихомолку ворчали: они лишались лучших, заботливейших рабочих, но инструкция на сей счет была определена и строга. Словом, у коногонов было всего безопасней, и каждую ночь там собирались блатные для своих карточных поединков.

В правом углу барака на нижних нарах были разостланы разноцветные ватные одеяла. К угловому столбу была прикручена проволокой горящая «колымка» – самодельная лампочка на бензином паре. В крышку консервной банки впаивались три-четыре открытые медные трубки – вот и все приспособление. Для того чтобы эту лампу зажечь, на крышку клали горячий уголь, бензин согревался, пар поднимался по трубкам, и бензиновый газ горел, зажженный спичкой.

На одеялах лежала грязная пуховая подушка, и по обеим сторонам ее, поджав по-бурятски ноги, сидели партнеры – классическая поза тюремной карточной битвы. На подушке лежала новенькая колода карт. Это не были обыкновенные карты, это была тюремная самодельная колода, которая изготавливается мастерами сих дел со скоростью необычайной. Для изготовления ее нужны бумага (любая книжка), кусок хлеба (чтобы его изжевать и протереть сквозь тряпку для получения крахмала – склеивать листы), огрызок химического карандаша (вместо типографской краски) и нож (для вырезывания и трафаретов мастей, и самих карт).

Сегодняшние карты были только что вырезаны из томика Виктора Гюго – книжка была кем-то позабыта вчера в конторе. Бумага была плотная, толстая – листков не пришлось склеивать, что делается, когда бумага тонка. В лагере при всех обысках неукоснительно отбирались химические карандаши. Их отбирали и при проверке полученных посылок. Это делалось не только для пресечения возможности изготовления документов и штампов (было много художников и таких), но для уничтожения всего, что может соперничать с государственной карточной монополией. Из химического карандаша делали чернила, и чернилами сквозь изготовленный бумажный трафарет наносили узоры на карту – дамы, валеты, десятки всех мастей... Масти не различались по цвету – да различие и не нужно игроку. Валету пик, например, соответствовало изображение пики в двух противоположных углах карты. Расположение и форма узоров столетиями были одинаковыми – уметь собственной рукой изготовить карты входит в программу «рыцарского» воспитания молодого блатаря.

Новенькая колода карт лежала на подушке, и один из играющих похлопывал по ней грязной рукой с тонкими, белыми, нерабочими пальцами. Ноготь мизинца был сверхъестественной длины – тоже блатарский шик, так же, как «фиксы» – золотые, то есть бронзовые, коронки, надеваемые на вполне здоровые зубы. Водились даже мастера – самозванные зубопротезисты, немало подрабатывающие изготовлением таких коронок, неизменно находивших спрос. Что касается ногтей, то цветная полировка их, бесспорно, вошла бы в быт преступного мира, если бы можно было в тюремных условиях завести лак. Холеный желтый ноготь поблескивал, как драгоценный камень.левой рукой хозяин ногтя перебирал липкие и грязные светлые волосы. Он был подстрижен «под бокс» самым аккуратнейшим образом. Низкий, без единой морщинки лоб, желтые кустики бровей, ротик бантиком – все это придавало его физиономии важное качество внешности вора: незаметность. Лицо было такое, что запомнить его было нельзя. Поглядел на него – и забыл, потерял все черты, и не узнать при встрече. Это был Севочка, знаменитый знаток терца, штоса и буры – трех классических карточных игр, вдохновенный истолкователь тысячи карточных правил, строгое соблюдение которых обязательно в настоящем сражении. Про Севочку говорили, что он «превосходно исполняет» – то есть показывает

умение и ловкость шулера. Он и был шулер, конечно; честная воровская игра – это и есть игра на обман: следи и уличай партнера, это твое право, умей обмануть сам, умей отспорить сомнительный выигрыш.

Играли всегда двое – один на один. Никто из мастеров не унижал себя участием в групповых играх вроде очка. Садиться с сильными «исполнителями» не боялись – так и в шахматах настоящий боец ищет сильнейшего противника.

Партнером Севочки был сам Наумов, бригадир коногонов. Он был старше партнера (впрочем, сколько лет Севочке – двадцать? тридцать? сорок?), черноволосый малый с таким страдальческим выражением черных, глубоко запавших глаз, что, не зная я, что Наумов железнодорожный вор с Кубани, я принял бы его за какого-нибудь странника – монаха или члена известной секты «Бог знает», секты, что вот уже десятки лет встречается в наших лагерях. Это впечатление увеличивалось при виде гайтана с оловянным крестиком, висевшего на шее Наумова, – ворот рубахи его был расстегнут. Этот крестик отнюдь не был кощунственной шуткой, капризом или импровизацией. В то время все блатные носили на шее алюминиевые крестики – это было опознавательным знаком ордена, вроде татуировки.

В двадцатые годы блатные носили технические фуражки, еще ранее – капитанки. В сороковые годы зимой носили они кубанки, подвертывали голенища валенок, а на шее носили крест. Крест обычно был гладким, но если случались художники, их заставляли иглой расписывать по кресту узоры на любимые темы: сердце, карта, крест, обнаженная женщина... Наумовский крест был гладким. Он висел на темной обнаженной груди Наумова, мешая прочесть синюю наколку-татуировку – цитату из Есенина, единственного поэта, признанного и канонизированного преступным миром:

Как мало пройдено дорог,
Как много сделано ошибок.

– Что ты играешь? – процедил сквозь зубы Севочка с бесконечным презрением: это тоже считалось хорошим тоном начала игры.

– Вот тряпки. Лепеху эту... – И Наумов похлопал себя по плечам.

– В пятистах играю, – оценил костюм Севочка. В ответ раздалась громкая многословная ругань, которая должна была убедить противника в гораздо большей стоимости вещи. Окружающие игроков зрители терпеливо ждали конца этой традиционной увертюры. Севочка не оставался в долгу и ругался еще язвительней, сбивая цену. Наконец костюм был оценен в тысячу. Со своей стороны, Севочка играл несколько поношенных джемперов. После того как джемперы были оценены и брошены тут же на одеяло, Севочка стасовал карты.

Я и Гаркунов, бывший инженер-текстильщик, пилили для наумовского барака дрова. Это была ночная работа – после своего рабочего забойного дня надо было напилить и наколоть дров на сутки. Мы забирались к коногонам сразу после ужина – здесь было теплей, чем в нашем бараке. После работы наумовский дневальный наливал в наши котелки холодную «юшку» – остатки от единственного и постоянного блюда, которое в меню столовой называлось «украинские галушки», и давал нам по куску хлеба. Мы садились на пол где-нибудь в углу и быстро съедали заработанное. Мы ели в полной темноте – барачные бензинки освещали карточное поле, но, по точным наблюдениям тюремных старожилов, ложки мимо рта не пронесешь. Сейчас мы смотрели на игру Севочки и Наумова.

Наумов проиграл свою «лепеху». Брюки и пиджак лежали около Севочки на одеяле. Игралась подушка. Ноготь Севочки вычерчивал в воздухе замысловатые узоры. Карты то исчезали в его ладони, то появлялись снова. Наумов был в нательной рубахе – сатиновая косоворотка ушла вслед за брюками. Услужливые руки накинули ему на плечи телогрейку, но резким

движением плеч он сбросил ее на пол. Внезапно все затихло. Севочка неторопливо почесывал подушку своим ногтем.

– Одеяло играю, – хрипло сказал Наумов.

– Двести, – безразличным голосом ответил Севочка.

– Тысячу, сука! – закричал Наумов.

– За что? Это не вещь! Это – локш, дрянь, – выговорил Севочка. – Только для тебя – играю за триста.

Сражение продолжалось. По правилам, бой не может быть окончен, пока партнер еще может чем-нибудь отвечать.

– Валенки играю.

– Не играю валенок, – твердо сказал Севочка. – Не играю казенных тряпок.

В стоимости нескольких рублей был проигран какой-то украинский рушник с петухами, какой-то портсигар с вытисненным профилем Гоголя – все уходило к Севочке. Сквозь темную кожу щек Наумова проступил густой румянец.

– На представку, – заискивающе сказал он.

– Очень нужно, – живо сказал Севочка и протянул назад руку: тотчас же в руку была вложена зажженная махорочная папироса. Севочка глубоко затянулся и закашлялся. – Что мне твоя представка? Этапов новых нет – где возьмешь? У конвоя, что ли?

Согласие играть «на представку», в долг, было необязательным одолжением по закону, но Севочка не хотел обижать Наумова, лишая его последнего шанса на отыгрыш.

– В сотне, – сказал он медленно. – Даю час представки.

– Давай карту. – Наумов поправил крестик и сел. Он отыграл одеяло, подушку, брюки – и вновь проиграл все.

– Чифирку бы подварить, – сказал Севочка, укладывая выигранные вещи в большой фанерный чемодан. – Я подожду.

– Заварите, ребята, – сказал Наумов.

Речь шла об удивительном северном напитке – крепком чае, когда на небольшую кружку заваривается пятьдесят и больше граммов чая. Напиток крайне горек, пьют его глотками и закусывают соленой рыбой. Он снимает сон и потому в почете у блатных и у северных шоферов в дальних рейсах. Чифирь должен бы разрушительно действовать на сердце, но я знавал многолетних чифиристов, переносящих его почти безболезненно. Севочка отхлебнул глоток из поданной ему кружки.

Тяжелый черный взгляд Наумова обводил окружающих. Волосы спутались. Взгляд дошел до меня и остановился.

Какая-то мысль сверкнула в мозгу Наумова.

– Ну-ка, выйди.

Я вышел на свет.

– Снимай телогрейку.

Было уже ясно, в чем дело, и все с интересом следили за попыткой Наумова.

Под телогрейкой у меня было только казенное нательное белье – гимнастерку выдавали года два назад, и она давно истлела. Я оделся.

– Выходи ты, – сказал Наумов, показывая пальцем на Гаркунова.

Гаркунов снял телогрейку. Лицо его побелело. Под грязной нательной рубахой был надет шерстяной свитер – это была последняя передача от жены перед отправкой в дальнюю дорогу, и я знал, как берег его Гаркунов, стирая его в бане, суша на себе, ни на минуту не выпуская из своих рук, – фуфайку украли бы сейчас же товарищи.

– Ну-ка, снимай, – сказал Наумов.

Севочка одобрительно помахивал пальцем – шерстяные вещи ценились. Если отдать выстирать фуфаечку да выпарить из нее вшей, можно и самому носить – узор красивый.

– Не сниму, – сказал Гаркунов хрипло. – Только с кожей...

На него кинулись, сбили с ног.

– Он кусается, – крикнул кто-то.

С пола медленно поднялся Гаркунов, вытирая рукавом кровь с лица. И сейчас же Сашка, дневальный Наумова, тот самый Сашка, который час назад налил нам супчику за пилку дров, чуть присел и выдернул что-то из-за голенища валенка. Потом он протянул руку к Гаркунову, и Гаркунов всхлипнул и стал валиться на бок.

– Не могли, что ли, без этого! – закричал Севочка. В мерцавшем свете бензинки было видно, как сереет лицо Гаркунова.

Сашка растянул руки убитого, разорвал нательную рубашку и стянул свитер через голову. Свитер был красный, и кровь на нем была едва заметна. Севочка бережно, чтобы не запачкать пальцев, сложил свитер в фанерный чемодан. Игра была кончена, и я мог идти домой. Теперь надо было искать другого партнера для пилки дров.

1956

Ночью

Ужин кончился. Глебов неторопливо вылизал миску, тщательно сгреб со стола хлебные крошки в левую ладонь и, поднеся ее ко рту, бережно слизал крошки с ладони. Не глотая, он ощущал, как слюна во рту густо и жадно обволакивает крошечный комочек хлеба. Глебов не мог бы сказать, было ли это вкусно. Вкус – это что-то другое, слишком бедное по сравнению с этим страстным, самозабвенным ощущением, которое давала пища. Глебов не торопился глотать: хлеб сам таял во рту, и таял быстро.

Ввалившиеся, блестящие глаза Багрецова неотрывно глядели Глебову в рот – не было ни в ком такой могучей воли, которая помогла бы отвести глаза от пищи, исчезающей во рту другого человека. Глебов проглотил слюну, и сейчас же Багрецов перевел глаза к горизонту – на большую оранжевую луну, выползавшую на небо.

– Пора, – сказал Багрецов.

Они молча пошли по тропе к скале и поднялись на небольшой уступ, огибавший сопку; хоть солнце зашло недавно, камни, днем обжигавшие подошвы сквозь резиновые галоши, надетые на босу ногу, сейчас уже были холодными. Глебов застегнул телогрейку. Ходьба не грела его.

– Далеко еще? – спросил он шепотом.

– Далеко, – негромко ответил Багрецов.

Они сели отдыхать. Говорить было не о чем, да и думать было не о чем – все было ясно и просто. На площадке, в конце уступа, были кучи развороченных камней, сорванного, ссохшегося мха.

– Я мог бы сделать это и один, – усмехнулся Багрецов, – но вдвоем веселее. Да и для старого приятеля...

Их привезли на одном пароходе в прошлом году. Багрецов остановился.

– Надо лечь, увидят.

Они легли и стали отбрасывать в сторону камни. Больших камней, таких, чтобы нельзя было поднять, переместить вдвоем, здесь не было, потому что те люди, которые набрасывали их сюда утром, были не сильнее Глебова.

Багрецов негромко выругался. Он оцарапал палец, текла кровь. Он присыпал рану песком, вырвал клочок ваты из телогрейки, прижал – кровь не останавливалась.

– Плохая свертываемость, – равнодушно сказал Глебов.

– Ты врач, что ли? – спросил Багрецов, отсасывая кровь.

Глебов молчал. Время, когда он был врачом, казалось очень далеким. Да и было ли такое время? Слишком часто тот мир за горами, за морями казался ему каким-то сном, выдумкой. Реальной была минута, час, день от подъема до отбоя – дальше он не загадывал и не находил в себе сил загадывать. Как и все.

Он не знал прошлого тех людей, которые его окружали, и не интересовался им. Впрочем, если бы завтра Багрецов объявил себя доктором философии или маршалом авиации, Глебов поверил бы ему, не задумываясь. Был ли он сам когда-нибудь врачом? Утрачен был не только автоматизм суждений, но и автоматизм наблюдений. Глебов видел, как Багрецов отсасывал кровь из грязного пальца, но ничего не сказал. Это лишь скользнуло в его сознании, а воли к ответу он в себе найти не мог и не искал. То сознание, которое у него еще оставалось и которое, возможно, уже не было человеческим сознанием, имело слишком мало граней и сейчас было направлено лишь на одно – чтобы скорее убрать камни.

– Глубоко, наверно? – спросил Глебов, когда они улеглись отдыхать.

– Как она может быть глубокой? – сказал Багрецов. И Глебов сообразил, что он спросил чепуху и что яма действительно не может быть глубокой.

– Есть, – сказал Багрецов.

Он дотронулся до человеческого пальца. Большой палец ступни выглядывал из камней – на лунном свете он был отлично виден. Палец был не похож на пальцы Глебова или Багрецова, но не тем, что был безжизненным и окоченелым, – в этом-то было мало различия. Ногти на этом мертвом пальце были острижены, сам он был полнее и мягче глебовского. Они быстро откинули камни, которыми было завалено тело.

– Молодой совсем, – сказал Багрецов.

Вдвоем они с трудом вытащили труп за ноги.

– Здоровый какой, – сказал Глебов, задыхаясь.

– Если бы он не был такой здоровый, – сказал Багрецов, – его похоронили бы так, как хоронят нас, и нам не надо было бы идти сюда сегодня.

Они разогнули мертвецу руки и стащили рубашку.

– А кальсоны совсем новые, – удовлетворенно сказал Багрецов.

Стащили и кальсоны. Глебов запрятал комок белья под телогрейку.

– Надень лучше на себя, – сказал Багрецов.

– Нет, не хочу, – пробормотал Глебов.

Они уложили мертвеца обратно в могилу и закидали ее камнями.

Синий свет взошедшей луны ложился на камни, на редкий лес тайги, показывая каждый уступ, каждое дерево в особом, не дневном виде. Все казалось по-своему настоящим, но не тем, что днем. Это был как бы второй, ночной, облик мира.

Белье мертвеца согрелось за пазухой Глебова и уже не казалось чужим.

– Закурить бы, – сказал Глебов мечтательно.

– Завтра закуришь.

Багрецов улыбался. Завтра они продадут белье, променяют на хлеб, может быть, даже достанут немного табаку...

1954

Плотники

Круглыми сутками стоял белый туман такой густоты, что в двух шагах не было видно человека. Впрочем, ходить далеко в одиночку не приходилось. Немногие направления – столовая, больница, вахта – угадывались неведомо как приобретенным инстинктом, сродни тому чувству направления, которым в полной мере обладают животные и которое в подходящих условиях просыпается и в человеке.

Градусника рабочим не показывали, да это было и не нужно – выходить на работу приходилось в любые градусы. К тому же старожилы почти точно определяли мороз без градусника: если стоит морозный туман, значит, на улице сорок градусов ниже нуля; если воздух при дыхании выходит с шумом, но дышать еще не трудно – значит, сорок пять градусов; если дыхание шумно и заметна одышка – пятьдесят градусов. Свыше пятидесяти пяти градусов – плевки замерзают на лету. Плевки замерзали на лету уже две недели.

Каждое утро Поташников просыпался с надеждой – не упал ли мороз? Он знал по опыту прошлой зимы, что, как бы ни была низка температура, для ощущения тепла важно резкое изменение, контраст. Если даже мороз упадет до сорока – сорока пяти градусов – два дня будет тепло, а дальше чем на два дня не имело смысла строить планы.

Но мороз не падал, и Поташников понимал, что выдержать дольше не может. Завтрака хватало, самое большее, на один час работы, потом приходила усталость, и мороз пронизывал все тело до костей – это народное выражение отнюдь не было метафорой. Можно было только махать инструментом и скакать с ноги на ногу, чтобы не замерзнуть до обеда. Горячий обед, пресловутая юшка и две ложки каши, мало восстанавливал силы, но все же согревал. И опять силы для работы хватало на час, а затем Поташникова охватывало желание не то согреться, не то просто лечь на колючие мерзлые камни и умереть. День все же кончался, и после ужина, напившись воды с хлебом, который ни один рабочий не ел в столовой с супом, а уносил в барак, Поташников тут же ложился спать.

Он спал, конечно, на верхних нарах – внизу был ледяной погреб, и те, чьи места были внизу, половину ночи простаивали у печки, обнимая ее по очереди руками, – печка была чуть теплая. Дров вечно не хватало: за дровами надо было идти за четыре километра после работы, все и всячески уклонялись от этой повинности. Вверху было теплее, хотя, конечно же, спали в том, в чем работали, – в шапках, телогрейках, бушлатах, ватных брюках. Вверху было теплее, но и там за ночь волосы примерзали к подушке.

Поташников чувствовал, как с каждым днем сил становилось все меньше и меньше. Ему, тридцатилетнему мужчине, уже трудно взбираться на верхние нары, трудно спускаться. Сосед его умер вчера, просто умер, не проснулся, и никто не интересовался, отчего он умер, как будто причина смерти была лишь одна, хорошо известная всем. Дневальный радовался, что смерть произошла не вечером, а утром – суточное довольствие умершего оставалось дневальному. Все это понимали, и Поташников осмелел и подошел к дневальному: «Отломи корочку», – но тот встретил его такой крепкой руганью, какой может ругаться только человек, ставший из слабого сильным и знающий, что его ругань безнаказанна. Только при чрезвычайных обстоятельствах слабый ругает сильного, и это – смелость отчаяния. Поташников замолчал и отошел.

Надо было на что-то решаться, что-то выдумывать своим ослабевшим мозгом. Или – умереть. Смерти Поташников не боялся. Но было тайное страстное желание, какое-то последнее упрямство – желание умереть где-нибудь в больнице, на койке, на постели, при внимании других людей, пусть казенном внимании, но не на улице, не на морозе, не под сапогами конвоя, не в бараке среди брани, грязи и при полном равнодушии всех. Он не винил людей за равнодушие. Он понял давно, откуда эта душевная тупость, душевный холод. Мороз, тот самый, который обращал в лед слюну на лету, добрался и до человеческой души. Если могли

промерзнуть кости, мог промерзнуть и отупеть мозг, могла промерзнуть и душа. На морозе нельзя было думать ни о чем. Все было просто. В холод и голод мозг снабжался питанием плохо, клетки мозга сохли – это был явный материальный процесс, и бог его знает, был ли этот процесс обратимым, как говорят в медицине, подобно отморожению, или разрушения были навечно. Так и душа – она промерзла, сжалась и, может быть, навсегда останется холодной. Все эти мысли были у Поташникова раньше – теперь не оставалось ничего, кроме желания перетерпеть, переждать мороз живым.

Нужно было, конечно, раньше искать каких-то путей спасения. Таких путей было не много. Можно было стать бригадиром или смотрителем, вообще держаться около начальства. Или около кухни. Но на кухню были сотни конкурентов, а от бригадирства Поташников отказался еще год назад, дав себе слово не позволять насиловать чужую человеческую волю здесь. Даже ради собственной жизни он не хотел, чтобы умиравшие товарищи бросали в него свои предсмертные проклятия. Поташников ждал смерти со дня на день, и день, кажется, подошел.

Проглотив миску теплого супа, дожевывая хлеб, Поташников добрался до места работы, едва волоча ноги. Бригада была выстроена перед началом работы, и вдоль рядов ходил какой-то толстый краснорожий человек в оленьей шапке, якутских торбасах и в белом полушубке. Он вглядывался в изможденные, грязные, равнодушные лица рабочих. Люди молча топтались на месте, ожидая конца неожиданной задержки. Бригадир стоял тут же, почтительно говоря что-то человеку в оленьей шапке:

– А я вас уверяю, Александр Евгеньевич, что у меня нет таких людей. К Соболеву и бытовичкам сходите, а это ведь интеллигенция, Александр Евгеньевич, – одно мученье.

Человек в оленьей шапке перестал разглядывать людей и повернулся к бригадиру.

– Бригадир не знает своих людей, не хотят знать, не хотят нам помочь, – хрипло сказал он.

– Воля ваша, Александр Евгеньевич.

– Вот я тебе сейчас покажу. Как твоя фамилия?

– Иванов моя фамилия, Александр Евгеньевич.

– Вот, гляди. Эй, ребята, внимание. – Человек в оленьей шапке встал перед бригадой. –

Управлению нужны плотники – делать короба для возки грунта.

Все молчали.

– Вот видите, Александр Евгеньевич, – зашептал бригадир.

Поташников вдруг услышал свой собственный голос:

– Есть. Я плотник. – И сделал шаг вперед.

С правого фланга молча шагнул другой человек. Поташников знал его – это был Григорьев.

– Ну, – человек в оленьей шапке повернулся к бригадиру, – ты шляпа и дерьмо. Ребята, пошли за мной.

Поташников и Григорьев поплелись за человеком в оленьей шапке. Он приостановился.

– Если так будем идти, – прохрипел он, – мы и к обеду не придем. Вот что. Я пойду вперед, а вы приходите в столярную мастерскую к прорабу Сергееву. Знаете, где столярная мастерская?

– Знаем, знаем! – закричал Григорьев. – Угостите закурить, пожалуйста.

– Знакомая просьба, – сквозь зубы пробормотал человек в оленьей шапке и, не вынимая коробки из кармана, вытащил две папиросы.

Поташников шел впереди и напряженно думал. Сегодня он будет в тепле столярной мастерской – точить топор и делать топорнице. И точить пилу. Торопиться не надо. До обеда они будут получать инструмент, выписывать, искать кладовщика. А сегодня к вечеру, когда выяснится, что он топорнице сделать не может, а пилу развести не умеет, его выгонят, и завтра он вернется в бригаду. Но сегодня он будет в тепле. А может быть, и завтра, и послезавтра

он будет плотником, если Григорьев – плотник. Он будет подручным у Григорьева. Зима уже кончается. Лето, короткое лето он как-нибудь проживет.

Поташников остановился, ожидая Григорьева.

– Ты можешь это... плотничать? – задыхаясь от внезапной надежды, выговорил он.

– Я, видишь ли, – весело сказал Григорьев, – аспирант Московского филологического института. Я думаю, что каждый человек, имеющий высшее образование, тем более гуманитарное, обязан уметь вытесать топориче и развести пилу. Тем более если это надо делать рядом с горячей печкой.

– Значит, и ты...

– Ничего не значит. На два дня мы их обманем, а потом – какое тебе дело, что будет потом.

– Мы обманем на один день. Завтра нас вернут в бригаду.

– Нет. За один день нас не успеют перевести по учету в столярную мастерскую. Надо ведь подавать сведения, списки. Потом опять отчислять...

Вдвоем они едва отворили примерзшую дверь. Посредине столярной мастерской горела раскаленная докрасна железная печка, и пять столяров на своих верстаках работали без телогреек и шапок. Пришедшие встали на колени перед открытой дверцей печки, перед богом огня, одним из первых богов человечества. Скинув рукавицы, они простерли руки к теплу, совали их прямо в огонь. Многократно отмороженные пальцы, потерявшие чувствительность, не сразу ощутили тепло. Через минуту Григорьев и Поташников сняли шапки и расстегнули бушлаты, не вставая с колен.

– Вы зачем? – недружелюбно спросил их столяр.

– Мы плотники. Будем работать тут, – сказал Григорьев.

– По распоряжению Александра Евгеньевича, – добавил поспешно Поташников.

– Это, значит, о вас говорил прораб, чтобы выдать вам топоры, – сказал Арнштрем, пожилой инструментальщик, стругавший в углу черенки к лопатам.

– О нас, о нас...

– Берите, – недоверчиво оглядев их, сказал Арнштрем. – Вот вам два топора, пила и разводка. Разводку потом назад отдайте. Вот мой топор, вытешьте топориче.

Арнштрем улыбнулся.

– Дневная норма мне на топорича – тридцать штук, – сказал он.

Григорьев взял чурку из рук Арнштрема и начал тесать. Загудел обеденный гудок. Арнштрем, не одеваясь, молча смотрел на работу Григорьева.

– Теперь ты, – сказал он Поташникову.

Поташников поставил полено на чурбан, взял топор из рук Григорьева и начал тесать.

– Хватит, – сказал Арнштрем.

Столяры уже ушли обедать, и в мастерской никого, кроме трех людей, не было.

– Возьмите вот два моих топорича, – Арнштрем подал готовые топорича Григорьеву, – и насадите топоры. Точите пилу. Сегодня и завтра грейтесь у печки. Послезавтра идите туда, откуда пришли. Вот вам кусок хлеба к обеду.

Сегодня и завтра они грелись у печки, а послезавтра мороз упал сразу до тридцати градусов – зима уже кончалась.

1954

Оди́ночный за́мер

Вечером, сматывая рулетку, смотритель сказал, что Дугаев получит на следующий день одиночный замер. Бригадир, стоявший рядом и просивший смотрителя дать в долг «десяток кубиков до послезавтра», внезапно замолчал и стал глядеть на замерцавшую за гребнем сопки вечернюю звезду. Баранов, напарник Дугаева, помогавший смотрителю замерять сделанную работу, взял лопату и стал подчищать давно вычищенный забой.

Дугаеву было двадцать три года, и все, что он здесь видел и слышал, больше удивляло, чем пугало его.

Бригада собралась на переключку, сдала инструмент и в арестантском неровном строю вернулась в барак. Трудный день был кончен. С головой Дугаев, не садясь, выпил через борт миски порцию жидкого холодного крупяного супа. Хлеб выдавался утром на весь день и был давно съеден. Хотелось курить. Он огляделся, соображая, у кого бы выпросить окурок. На подоконнике Баранов собирал в бумажку махорочные крупинки из вывернутого кисета. Собрал их тщательно, Баранов свернул тоненькую папироску и протянул ее Дугаеву.

– Кури, мне оставишь, – предложил он. Дугаев удивился – они с Барановым не были дружны. Впрочем, при голоде, холоде и бессоннице никакая дружба не завязывается, и Дугаев, несмотря на молодость, понимал всю фальшивость поговорки о дружбе, проверяемой несчастьем и бедою. Для того чтобы дружба была дружбой, нужно, чтобы крепкое основание ее было заложено тогда, когда условия, быт еще не дошли до последней границы, за которой уже ничего человеческого нет в человеке, а есть только недоверие, злоба и ложь. Дугаев хорошо помнил северную поговорку, три арестантские заповеди: не верь, не бойся и не проси...

Дугаев жадно всосал сладкий махорочный дым, и голова его закружилась.

– Слабею, – сказал он.

Баранов промолчал.

Дугаев вернулся в барак, лег и закрыл глаза. Последнее время он спал плохо, голод не давал хорошо спать. Сны снились особенно мучительные – буханки хлеба, дымящиеся жирные супы... Забыть наступало не скоро, но все же за полчаса до подъема Дугаев уже открыл глаза.

Бригада пришла на работу. Все разошлись по своим забоям.

– А ты подожди, – сказал бригадир Дугаеву. – Тебя смотритель поставит.

Дугаев сел на землю. Он уже успел утомиться настолько, чтобы с полным безразличием отнестись к любой перемене в своей судьбе.

Загремели первые тачки на трапе, заскрежетали лопаты о камень.

– Иди сюда, – сказал Дугаеву смотритель. – Вот тебе место. – Он вымерил кубатуру забоя и поставил метку – кусок кварца. – Досюда, – сказал он. – Траповщик тебе доску до главного трапа дотянет. Возить туда, куда и все. Вот тебе лопата, кайло, лом, тачка – вози.

Дугаев послушно начал работу.

«Еще лучше», – думал он. Никто из товарищей не будет ворчать, что он работает плохо. Бывшие хлебоборбы не обязаны понимать и знать, что Дугаев новичок, что сразу после школы он стал учиться в университете, а университетскую скамью променял на этот забой. Каждый за себя. Они не обязаны, не должны понимать, что он истощен и голоден уже давно, что он не умеет красть: меньше красть – это главная северная добродетель во всех ее видах, начиная от хлеба товарища и кончая выпиской тысячных премий начальству за несуществующие, небывшие достижения. Никому нет дела до того, что Дугаев не может выдержать шестнадцатичасового рабочего дня.

Дугаев возил, кайлил, сыпал, опять возил и опять кайлил и сыпал.

После обеденного перерыва пришел смотритель, поглядел на сделанное Дугаевым и молча ушел... Дугаев опять кайлил и сыпал. До кварцевой метки было еще очень далеко.

Вечером смотритель снова явился и размотал рулетку. Он смерил то, что сделал Дугаев.

– Двадцать пять процентов, – сказал он и посмотрел на Дугаева. – Двадцать пять процентов. Ты слышишь?

– Слышу, – сказал Дугаев. Его удивила эта цифра. Работа была так тяжела, так мало камня подцеплялось лопатой, так тяжело было кайлить. Цифра – двадцать пять процентов нормы – показалась Дугаеву очень большой. Ныли икры, от упора на тачку нестерпимо болели руки, плечи, голова. Чувство голода давно покинуло его. Дугаев ел, потому что видел, как едят другие, что-то подсказывало ему: надо есть. Но он не хотел есть.

– Ну, что ж, – сказал смотритель, уходя. – Желаю здравствовать.

Вечером Дугаева вызвали к следователю. Он ответил на четыре вопроса: имя, фамилия, статья, срок. Четыре вопроса, которые по тридцать раз в день задают арестанту. Потом Дугаев пошел спать. На следующий день он опять работал с бригадой, с Барановым, а в ночь на послезавтра его повели солдаты за конбазу, и повели по лесной тропке к месту, где, почти перегородившая небольшое ущелье, стоял высокий забор с колючей проволокой, натянутой поверху, и откуда по ночам доносилось отдаленное стрекотание тракторов. И, поняв, в чем дело, Дугаев пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился этот последний сегодняшний день.

⟨1955⟩

Посылка

Посылки выдавали на вахте. Бригады удостоверяли личность получателя. Фанера ломалась и трещала по-своему, по-фанерному. Здешние деревья ломались не так, кричали не таким голосом. За барьером из скамеек люди с чистыми руками в чересчур аккуратной военной форме вскрывали, проверяли, встряхивали, выдавали. Ящики посылок, едва живые от многомесячного путешествия, подброшенные умело, падали на пол, раскалывались. Куски сахара, сушеные фрукты, загнивший лук, мятые пачки махорки разлетались по полу. Никто не подбирал рассыпанное. Хозяева посылок не протестовали – получить посылку было чудом из чудес.

Возле вахты стояли конвоиры с винтовками в руках – в белом морозном тумане двигались какие-то незнакомые фигуры.

Я стоял у стены и ждал очереди. Вот эти голубые куски – это не лед! Это сахар! Сахар! Сахар! Пройдет еще час, и я буду держать в руках эти куски, и они не будут таять. Они будут таять только во рту. Такого большого куска мне хватит на два раза, на три раза.

А махорка! Собственная махорка! Материковская махорка, ярославская «Белка» или «Кременчуг № 2». Я буду курить, буду угощать всех, всех, всех, а прежде всего тех, у кого я докуривал весь этот год. Материковская махорка! Нам ведь давали в пайке табак, снятый по срокам хранения с армейских складов, – авантюра гигантских масштабов: на лагерь списывались все продукты, что вылежали сроки хранения. Но сейчас я буду курить настоящую махорку. Ведь если жена не знает, что нужна махорка покрепче, ей подскажут.

– Фамилия?

Посылка треснула, и из ящика высыпался чернослив, кожаные ягоды чернослива. А где же сахар? Да и чернослива – две-три горсти...

– Тебе бурки! Летчицкие бурки! Ха-ха-ха! С каучуковой подошвой! Ха-ха-ха! Как у начальника прииска! Держи, принимай!

Я стоял растерянный. Зачем мне бурки? В бурках здесь можно ходить только по праздникам – праздников-то и не было. Если бы олени пимы, торбаса или обыкновенные валенки. Бурки – это чересчур шикарно... Это не подобает. Притом...

– Слышь ты... – чья-то рука тронула мое плечо.

Я повернулся так, чтобы было видно и бурки, и ящик, на дне которого было немного чернослива, и начальство, и лицо того человека, который держал мое плечо. Это был Андрей Бойко, наш горный смотритель.

А Бойко шептал торопливо:

– Продай мне эти бурки. Я тебе денег дам. Сто рублей. Ты ведь до барака не донесешь – отнимут, вырвут эти. – И Бойко ткнул пальцем в белый туман. – Да и в бараке украдут. В первую ночь.

«Сам же ты и подошлешь», – подумал я.

– Ладно, давай деньги.

– Видишь, какой я! – Бойко отсчитывал деньги. – Не обманываю тебя, не как другие. Сказал сто – и даю сто. – Бойко боялся, что переплатил лишнего.

Я сложил грязные бумажки вчетверо, ввосьмеро и упрятал в брючный карман. Чернослив пересыпал из ящика в бушлат – карманы его давно были вырваны на кисеты.

Куплю масла! Килограмм масла! И буду есть с хлебом, супом, кашей. И сахару! И сумку достану у кого-нибудь – торбочку с бечевочным шнурком. Непременная принадлежность всякого приличного заключенного из фраеров. Блатные не ходят с торбочками.

Я вернулся в барак. Все лежали на нарах, только Ефремов сидел, положив руки на остывшую печку, и тянулся лицом к исчезающему теплу, боясь разогнуться, оторваться от печки.

– Что же не растопляешь?

Подошел дневальный.

– Ефремовское дежурство! Бригадир сказал: пусть где хочет, там и берет, а чтоб дрова были. Я тебе спать все равно не дам. Иди, пока не поздно.

Ефремов выскользнул в дверь барака.

– Где ж твоя посылка?

– Ошиблись...

Я побежал к магазину. Шапаренко, завмаг, еще торговал. В магазине никого не было.

– Шапаренко, мне хлеба и масла.

– Угровишь ты меня.

– Ну, возьми, сколько надо.

– Денег у меня видишь сколько? – сказал Шапаренко. – Что такой фитиль, как ты, может дать? Бери хлеб и масло и отрывайся быстро.

Сахару я забыл попросить. Масла – килограмм. Хлеба – килограмм. Пойду к Семёну Шейнину. Шейнин был бывший референт Кирова, еще не расстрелянный в это время. Мы с ним работали когда-то вместе, в одной бригаде, но судьба нас развела.

Шейнин был в бараке.

– Давай есть. Масло, хлеб.

Голодные глаза Шейнина заблестали.

– Сейчас я кипятку...

– Да не надо кипятку!

– Нет, я сейчас. – И он исчез.

Тут же кто-то ударил меня по голове чем-то тяжелым, и, когда я вскочил, пришел в себя, сумки не было. Все оставались на своих местах и смотрели на меня со злобной радостью. Развлечение было лучшего сорта. В таких случаях радовались вдвойне: во-первых, кому-то плохо, во-вторых, плохо не мне. Это не зависть, нет...

Я не плакал. Я еле остался жив. Прошло тридцать лет, и я помню отчетливо полутемный барак, злобные, радостные лица моих товарищей, сырое полено на полу, бледные щеки Шейнина.

Я пришел снова в ларек. Я больше не просил масла и не спрашивал сахару. Я выпросил хлеба, вернулся в барак, натаял снега и стал варить чернослив.

Барак уже спал: стонал, хрипел и кашлял. Мы трое варили у печки каждый свое: Синцов кипятил сбереженную от обеда корку хлеба, чтобы съесть ее, вязкую, горячую, и чтобы выпить потом с жадностью горячую снеговую воду, пахнущую дождем и хлебом. А Губарев натолкал в котелок листьев мерзлой капусты – счастливец и хитрец. Капуста пахла, как лучший украинский борщ! А я варил посылочный чернослив. Все мы не могли не глядеть в чужую посуду.

Кто-то пинком распахнул двери барака. Из облака морозного пара вышли двое военных. Один, помоложе, – начальник лагеря Коваленко, другой, постарше, – начальник прииска Рябов. Рябов был в авиационных бурках – в моих бурках! Я с трудом сообразил, что это ошибка, что бурки рябовские.

Коваленко бросился к печке, размахивая кайлом, которое он принес с собой.

– Опять котелки! Вот я сейчас вам покажу котелки! Покажу, как грязь разводить!

Коваленко опрокинул котелки с супом, с коркой хлеба и листьями капусты, с черносливом и пробил кайлом дно каждого котелка.

Рябов грел руки о печную трубу.

– Есть котелки – значит, есть что варить, – глубокомысленно изрек начальник прииска. – Это, знаете, признак довольства.

– Да ты бы видел, что они варят, – сказал Коваленко, растаптывая котелки.

Начальники вышли, и мы стали разбирать смятые котелки и собирать каждый свое: я – ягоды, Синцов – размокший, бесформенный хлеб, а Губарев – крошки капустных листьев. Мы все сразу съели – так было надежней всего.

Я проглотил несколько ягод и заснул. Я давно научился засыпать раньше, чем согреются ноги, – когда-то я этого не мог, но опыт, опыт... Сон был похож на забытье.

Жизнь возвращалась, как сновиденье, – снова раскрылись двери: белые клубы пара, прилегшие к полу, пробежавшие до дальней стены барака, люди в белых полушубках, вонючих от новизны, необнощенности, и рухнувшее на пол что-то, не шевелящееся, но живое, хрюкающее.

Дневальный, в недоуменной, но почтительной позе склонившийся перед белыми тулупами десятников.

– Ваш человек? – и смотритель показал на комок грязного тряпья на полу.

– Это Ефремов, – сказал дневальный.

– Будет знать, как воровать чужие дрова.

Ефремов много недель пролежал рядом со мной на нарах, пока его не увезли, и он умер в инвалидном городке. Ему отбили «нутро» – мастеров этого дела на прииске было немало. Он не жаловался – он лежал и тихонько стонал.

1960

Дождь

Мы бурили на новом полигоне третий день. У каждого был свой шурф, и за три дня каждый углубился на полметра, не больше. До мерзлоты еще никто не дошел, хотя и ломы и кайла заправлялись без всякой задержки – редкий случай; кузнецам было нечего оттягивать – работала только наша бригада. Все дело было в дожде. Дождь лил третьи сутки не переставая. На каменистой почве нельзя узнать – час льет дождь или месяц. Холодный мелкий дождь. Соседние с нами бригады давно уже сняли с работы и увели домой, но то были бригады блатарей – даже для зависти у нас не было силы.

Десятник в намокшем огромном брезентовом плаще с капюшоном, угловатом, как пирамида, появлялся редко. Начальство возлагало большие надежды на дождь, на холодные плети воды, опускавшиеся на наши спины. Мы давно были мокры, не могу сказать, до белья, потому что белья у нас не было. Примитивный тайный расчет начальства был таков, что дождь и холод заставят нас работать. Но ненависть к работе была еще сильнее, и каждый вечер десятник с проклятием опускал в шурф свою деревянную мерку с зарубками. Конвой стерег нас, укрывшись под «грибом» – известным лагерным сооружением.

Мы не могли выходить из шурфов – мы были бы застрелены. Ходить между шурфами мог только наш бригадир. Мы не могли кричать друг другу – мы были бы застрелены. И мы стояли молча, по пояс в земле, в каменных ямах, длинной вереницей шурфов растягиваясь по берегу высохшего ручья.

За ночь мы не успевали высушить наши бушлаты, а гимнастерки и брюки мы ночью сушили своим телом и почти успевали высушить. Голодный и злой, я знал, что ничто в мире не заставит меня покончить с собой. Именно в это время я стал понимать суть великого инстинкта жизни – того самого качества, которым наделен в высшей степени человек. Я видел, как изнемогали и умирали наши лошади – я не могу выразиться иначе, воспользоваться другими глаголами. Лошади ничем не отличались от людей. Они умирали от Севера, от непосильной работы, плохой пищи, побоев, и хоть всего этого было дано им в тысячу раз меньше, чем людям, они умирали раньше людей. И я понял самое главное, что человек стал человеком не потому, что он божье создание, и не потому, что у него удивительный большой палец на каждой руке. А потому, что был он физически крепче, выносливее всех животных, а позднее потому, что заставил свое духовное начало успешно служить началу физическому.

Вот обо всем этом в сотый раз думал я в этом шурфе. Я знал, что не покончу с собой, потому что проверил эту свою жизненную силу. В таком же шурфе, только глубоко, недавно я выкайлил огромный камень. Я много дней бережно освобождал его страшную тяжесть. Из этой тяжести недоброй я думал создать нечто прекрасное – по словам русского поэта. Я думал спасти свою жизнь, сломав себе ногу. Воистину это было прекрасное намерение, явление вполне эстетического рода. Камень должен был рухнуть и раздробить мне ногу. И я – навеки инвалид! Эта страстная мечта подлежала расчету, и я точно подготовил место, куда поставлю ногу, представил, как легонько поверну кайлом – и камень рухнет. День, час и минута были назначены и пришли. Я поставил правую ногу под висящий камень, похвалил себя за спокойствие, поднял руку и повернул, как рычаг, заложное за камень кайло. И камень пополз по стене в назначенное и вычисленное место. Но сам не знаю, как это случилось, – я отдернул ногу. В тесном шурфе нога была помята. Два синяка, три ссадины – вот и весь результат так хорошо подготовленного дела.

И я понял, что не гожусь ни в членовредители, ни в самоубийцы. Мне оставалось только ждать, пока маленькая неудача сменится маленькой удачей, пока большая неудача исчерпает себя. Ближайшей удачей был конец рабочего дня, три глотка горячего супу – если даже суп

будет холодный, его можно подогреть на железной печке, а котелок – трехлитровая консервная банка – у меня есть. Закурить, вернее, докурить, я попрошу у нашего дневального Степана.

Вот так, перемешивая в мозгу «звездные» вопросы и мелочи, я ждал, вымокший до нитки, но спокойный. Были ли эти рассуждения некой тренировкой мозга? Ни в коем случае. Все это было естественно, это была жизнь. Я понимал, что тело, а значит, и клетки мозга получают питание недостаточное, мозг мой давно уже на голодном пайке и что это неминуемо скажется сумасшествием, ранним склерозом или как-нибудь еще... И мне весело было думать, что я не доживу, не успею дожить до склероза. Лил дождь.

Я вспомнил женщину, которая вчера прошла мимо нас по тропинке, не обращая внимания на окрики конвоя. Мы приветствовали ее, и она нам показалась красавицей – первая женщина, увиденная нами за три года. Она помахала нам рукой, показала на небо, куда-то в угол небосвода, и крикнула: «Скоро, ребята, скоро!» Радостный рев был ей ответом. Я никогда ее больше не видел, но всю жизнь ее вспоминал – как могла она так понять и так утешить нас. Она указывала на небо, вовсе не имея в виду загробный мир. Нет, она показывала только, что невидимое солнце спускается к западу, что близок конец трудового дня. Она по-своему повторила нам гетевские слова о горных вершинах. О мудрости этой простой женщины, какой-то бывшей или сущей проститутки – ибо никаких женщин, кроме проституток, в то время в этих краях не было, – вот о ее мудрости, о ее великом сердце я и думал, и шорох дождя был хорошим звуковым фоном для этих мыслей. Серый каменный берег, серые горы, серый дождь, серое небо, люди в серой рваной одежде – все было очень мягкое, очень согласное друг с другом. Все было какой-то единой цветовой гармонией – дьявольской гармонией.

И в это время раздался слабый крик из соседнего шурфа. Моим соседом был некто Розовский, пожилой агроном, изрядные специальные знания которого, как и знания врачей, инженеров, экономистов, не могли здесь найти применения. Он звал меня по имени, и я откликнулся ему, не обращая внимания на угрожающий жест конвоира – издалека, из-под гриба.

– Слушайте, – кричал он, – слушайте! Я долго думал! И понял, что смысла жизни нет... Нет...

Тогда я выскочил из своего шурфа и подбежал к нему раньше, чем он успел броситься на конвойных. Оба конвоира приближались.

– Он заболел, – сказал я.

В это время донесся отдаленный, заглушенный дождем гудок, и мы стали строиться.

Мы работали с Розовским еще некоторое время вместе, пока он не бросился под груженую вагонетку, катившуюся с горы. Он сунул ногу под колесо, но вагонетка просто перескочила через него, и даже синяка не осталось. Тем не менее за покушение на самоубийство на него завели дело, он был судим, и мы расстались, ибо существует правило, что после суда осужденный никогда не направляется в то место, откуда он прибыл. Боятся мести под горячую руку – следователю, свидетелям. Это мудрое правило. Но в отношении Розовского его можно было бы и не применять.

1958

Кант

Сопки были белые, с синеватым отливом, как сахарные головы. Круглые, безлесные, они были покрыты тонким слоем плотного снега, спрессованного ветрами. В ущельях снег был глубок и крепок – держал человека, а на склонах сопков он как бы вздувался огромными пузырями. Это были кусты стланика, распластавшегося по земле и улегшегося на зимнюю ночевку еще до первого снега. Они-то и были нам нужны.

Из всех северных деревьев я больше других любил стланик, кедрач.

Мне давно была понятна и дорога та завидная торопливость, с какой бедная северная природа стремилась поделиться с нищим, как и она, человеком своим нехитрым богатством: процвести поскорее для него всеми цветами. В одну неделю, бывало, цвело все взапуски, и за какой-нибудь месяц с начала лета горы в лучах почти незаходящего солнца краснели от брусники, чернели от темно-синей голубики. На низкорослых кустах – и руку поднимать не надо – наливалась желтая крупная водянистая рябина. Медовый горный шиповник – его розовые лепестки были единственными цветами здесь, которые пахли как цветы, все остальные пахли только сыростью, болотом, и это было под стать весеннему безмолвию птиц, безмолвию лиственничного леса, где ветви медленно одевались зеленой хвоей. Шиповник берег плоды до самых морозов и из-под снега протягивал нам сморщенные мясистые ягоды, фиолетовая жесткая шкура которых скрывала сладкое темно-желтое мясо. Я знал веселость лоз, меняющих окраску весной много раз, – то темно-розовых, то оранжевых, то бледно-зеленых, будто обтянутых цветной лайкой. Лиственницы протягивали тонкие пальцы с зелеными ногтями, вездесущий жирный кипрей покрывал лесные пожарища. Все это было прекрасно, доверчиво, шумно и торопливо, но все это было летом, когда матовая зеленая трава мешалась с муравчатым блеском замшелых, блестящих на солнце скал, которые вдруг оказывались не серыми, не коричневыми, а зелеными.

Зимой все это исчезало, покрытое рыхлым, жестким снегом, что ветры наметали в ущелья и утрамбовывали так, что для подъема в гору надо было вырубать в снегу ступеньки топором. Человек в лесу был виден за версту – так все было голо. И только одно дерево было всегда зелено, всегда живо – стланик, вечнозеленый кедрач. Это был предсказатель погоды. За два-три дня до первого снега, когда днем было еще по-осеннему жарко и безоблачно и о близкой зиме никому не хотелось думать, стланик вдруг растягивал по земле свои огромные, двухсаженные лапы, легко сгибал свой прямой черный ствол толщиной кулака в два и ложился плашмя на землю. Проходил день, другой, появлялось облачко, а к вечеру задувала метель и падал снег. А если поздней осенью собирались снеговые низкие тучи, дул холодный ветер, но стланик не ложился – можно было быть твердо уверенным, что снег не выпадет.

В конце марта, в апреле, когда весной еще и не пахло и воздух был по-зимнему разрежен и сух, стланик вокруг поднимался, стряхивая снег со своей зеленой, чуть рыжеватой одежды. Через день-два менялся ветер, теплые струи воздуха приносили весну.

Стланик был инструментом очень точным, чувствительным до того, что порой он обманывался, – он поднимался в оттепель, когда оттепель затягивалась. Перед оттепелью он не поднимался. Но еще не успело похолодать, как он снова торопливо укладывался в снег. Бывало и такое: разведешь с утра костер пожарче, чтобы в обед было где согреть ноги и руки, заложишь побольше дров и уходишь на работу. Через два-три часа из-под снега протягивает ветви стланик и расправляется потихоньку, думая, что пришла весна. Еще не успел костер погаснуть, как стланик снова ложился в снег. Зима здесь двухцветна – бледно-синее высокое небо и белая земля. Весной обнажается грязно-желтое прошлогоднее осеннее тряпье, и долго-долго земля одета в этот нищенский убор, пока новая зелень не наберет силу и все не станет цвести – торопливо и бурно. И вот среди этой унылой весны, безжалостной зимы, ярко и ослепительно зеле-

нея, сверкал стланик. К тому же на нем росли орехи – мелкие кедровые орехи. Это лакомство делили между собой люди, кедровки, медведи, белки и бурундуки.

Выбрав площадку с подветренной стороны сопки, мы натаскали сучьев, мелких и покрупнее, нарвали сухой травы на прометинах – голых местах горы, с которых ветер сорвал снег. Мы принесли с собой из барака несколько дымящихся головешек, взятых перед уходом на работу из топящейся печки, – спичек здесь не было.

Головешки носили в большой консервной банке с приделанной ручкой из проволоки, тщательно следя, чтобы головни не погасли дорогой. Вытащив головни из банки, обдув их и сложив тлеющие концы вместе, я раздул огонь и, положив головни на ветки, заложил костер – сухую траву и мелкие сучья. Все это было закрыто большими сучьями, и скоро синий дымок неуверенно потянулся по ветру.

Я никогда раньше не работал в бригадах, заготавливающих хвою стланика. Заготовка шла вручную, зеленые сухие иглы щипали, как перья у дичи, руками, захватывая побольше в горсть, набивали хвоей мешки и вечером сдавали выработку десятнику. Затем хвоя увозилась на таинственный витаминный комбинат, где из нее варили темно-желтый густой и вязкий экстракт непередаваемо противного вкуса. Этот экстракт нас заставляли пить или есть (кто как сумеет) перед каждым обедом. Вкусом экстракта был испорчен не только обед, но и ужин, и многие видели в этом лечении дополнительное средство лагерного воздействия. Без стопки этого лекарства в столовых нельзя было получить обед – за этим строго следили. Цинга была повсеместно, и стланик был единственным средством от цинги, одобренным медициной. Вера все преодолевает, и, хотя впоследствии была доказана полная несостоятельность этого «препарата» как противоцинготного средства и от него отказались, а витаминный комбинат закрыли, в наше время люди пили эту вонючую дрянь, отплеивались и выздоравливали от цинги. Или не выздоравливали. Или не пили и выздоравливали. Везде по свету была тьма шиповника, но его никто не заготавливал, не использовал как противоцинготное средство – в московской инструкции ничего о шиповнике не говорилось. (Через несколько лет шиповник стали завозить с материка, но собственной заготовки, сколько мне известно, так никогда и не было налажено.)

Представителем витамина С инструкция считала только хвою стланика. Нынче я был заготовщиком этого драгоценного сырья – я ослабел и из золотого забоя был переведен щипать стланик.

– Походишь на стланик, – сказал утром нарядчик. – Дам тебе кант на несколько дней.

«Кант» – это широко распространенный лагерный термин. Обозначает он что-то вроде временного отдыха, не то что полный отдых (в таком случае говорят: он «припухает», «припух» на сегодня), а такую работу, при которой человек не выбивается из сил, легкую временную работу.

Работа на стланике считалась не только легкой – легчайшей работой, и притом она была бесконвойной.

После многих месяцев работы в обледенелых разрезах, где каждый промороженный до блеска камешек обжигает руки, после щелканья винтовочных затворов, лая собак и матерщины смотрителей за спиной работа на стланике был огромным, ощущаемым каждым усталым мускулом удовольствием. На стланик посылали позже обычного развода на работу еще в темноте.

Хорошо было, грея руки о банку с дымящимися головешками, не спеша идти к сопкам, таким непостижимо далеким, как мне казалось раньше, и подниматься все выше и выше, все время ощущая как радостную неожиданность свое одиночество и глубокую зимнюю горную тишину, как будто все дурное в мире исчезло и есть только твой товарищ, и ты, и узкая темная бесконечная полоска в снегу, ведущая куда-то высоко, в горы.

Товарищ мой неодобрительно смотрел на мои медленные движения. Он уже давно ходил на стланик и справедливо предполагал во мне неумелого и слабого напарника. Работали парами, заработок был общий и делился пополам.

– Я буду рубить, а ты садись щипать, – сказал он. – И поживей ворочайся, а то мы не сделаем нормы. А идти отсюда снова в забой я не хочу.

Он нарубил стланиковых веток и приволок огромную кучу лап к костру. Я отламывал сучья поменьше и, начиная с вершины ветки, обдираал иглы вместе с корой. Они были похожи на зеленую бахрому.

– Надо быстрее, – сказал мой товарищ, возвращаясь с новой охапкой. – Плохо, брат!

Я и сам понимал, что плохо. Но я не мог работать быстрее. В ушах звенело, и отмороженные в начале зимы пальцы рук давно уже ныли знакомой тупой болью. Я драл иглы, ломал целые ветки на куски, не обдирая коры, и заталкивал добычу в мешок. Но мешок никак не хотел наполняться. Уже целая гора ободранных веток, похожих на обмытые кости, поднялась около костра, а мешок все раздувался и раздувался и принимал новые охапки стланика.

Товарищ стал помогать. Дело пошло быстрее.

– Пора домой, – сказал он вдруг. – А то к ужину опоздаем. На норму тут не хватит. – И, взяв из золы костра большой камень, он затолкал его в мешок. – Там не развязывают, – сказал он, хмурясь. – Теперь будет норма.

Я встал, раскидал горящие сучья в стороны и нагреб ногами снег на рдеющие угли. Костер зашипел, погас, и сразу стало холодно и ясно, что вечер близок. Товарищ помог мне взвалить на спину мешок. Я закачался под тяжестью.

– Волоком волок, – сказал товарищ. – Вниз ведь тащить, не вверх.

Мы едва успели получить свой суп и чай. На этой легкой работе вторых блюд не полагалось.

Сухим пайком

Когда мы, все четверо, пришли на ключ Дусканья, мы так радовались, что почти не говорили друг с другом. Мы боялись, что наше путешествие сюда чья-то ошибка или чья-то шутка, что нас вернут назад в зловещие, залитые холодной водой – растаявшим льдом – каменные забои прииска. Казенные резиновые галоши, чуни, не спасали от холода наши многократно отмороженные ноги.

Мы шли по тракторным следам, как по следам какого-то доисторического зверя, но тракторная дорога кончилась, и по старой пешеходной тропинке, чуть заметной, мы дошли до маленького сруба с двумя прорезанными окнами и дверью, висящей на одной петле из куска автомобильной шины, укрепленного гвоздями. У маленькой двери была огромная деревянная ручка, похожая на ручку ресторанных дверей в больших городах. Внутри были голые нары из цельного накатника, на земляном полу валялась черная, закопченная консервная банка. Такие же банки, проржавевшие и пожелтевшие, валялись около крытого мхом маленького домика в большом количестве. Это была изба горной разведки; в ней никто не жил уже не один год. Мы должны были тут жить и рубить просеку – с нами были топоры и пилы.

Мы впервые получили свой продуктовый паек на руки. У меня был заветный мешочек с крупами, сахаром, рыбой, жирами. Мешочек был перевязан обрывками бечевки в нескольких местах так, как перевязывают сосиски. Сахарный песок и крупа двух сортов – ячневая и магар. У Савельева был точно такой же мешочек, а у Ивана Ивановича было целых два мешочка, сшитых крупной мужской сметкой. Наш четвертый – Федя Щапов – легкомысленно насыпал крупу в карманы бушлата, а сахарный песок завязал в портянку. Вырванный внутренний карман бушлата служил Феде кисетом, куда бережно складывались найденные окурки.

Десятидневные пайки выглядели пугающе: не хотелось думать, что все это должно быть поделено на целых тридцать частей – если у нас будет завтрак, обед и ужин, и на двадцать частей – если мы будем есть два раза в день. Хлеба мы взяли на два дня – его будет нам приносить десятник, ибо даже самая маленькая группа рабочих не может быть мыслима без десятника. Кто он – мы не интересовались вовсе. Нам сказали, что до его прихода мы должны подготовить жилище.

Всем нам надоела барачная еда, где всякий раз мы готовы были плакать при виде внесенных в барак на палках больших цинковых бачков с супом. Мы готовы были плакать от боязни, что суп будет жидким. И когда случалось чудо и суп был густой, мы не верили и, радуясь, ели его медленно-медленно. Но и после густого супа в потеплевшем желудке оставалась сосущая боль – мы голодали давно. Все человеческие чувства – любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность – ушли от нас с тем мясом, которого мы лишились за время своего продолжительного голодания. В том незначительном мышечном слое, что еще оставался на наших костях, что еще давал нам возможность есть, двигаться, и дышать, и даже пилить бревна, и насыпать лопатой камень и песок в тачки, и даже возить тачки по нескончаемому деревянному трапу в золотом забое, по узкой деревянной дороге на промысловый прибор, в этом мышечном слое размещалась только злоба – самое долговечное человеческое чувство.

Савельев и я решили питаться каждый сам по себе. Приготовление пищи – арестантское наслаждение особого рода; ни с чем не сравнимое удовольствие приготовить пищу для себя, своими руками и затем есть, пусть сваренную хуже, чем бы это сделали умелые руки повара, – наши кулинарные знания были ничтожны, поварского умения не хватало даже на простой суп или кашу. И все же мы с Савельевым собирали банки, чистили их, обжигали на огне костра, что-то замачивали, кипятили, учась друг у друга.

Иван Иванович и Федя смешали свои продукты, Федя бережно вывернул карманы и, обследовав каждый шов, выгребал крупинки грязным обломанным ногтем.

Мы, все четверо, были отлично подготовлены для путешествия в будущее – хоть в небесное, хоть в земное. Мы знали, что такое научно обоснованные нормы питания, что такое таблица замены продуктов, по которой выходило, что ведро воды заменяет по калорийности сто граммов масла. Мы научились смирению, мы разучились удивляться. У нас не было гордости, себялюбия, самолюбия, а ревность и страсть казались нам марсианскими понятиями, и притом пустяками. Гораздо важнее было наловчиться зимой на морозе застегивать штаны – взрослые мужчины плакали, не умея подчас это сделать. Мы понимали, что смерть несколько не хуже, чем жизнь, и не боялись ни той, ни другой. Великое равнодушие владело нами. Мы знали, что в нашей воле прекратить эту жизнь хоть завтра, и иногда решались сделать это, и всякий раз мешали какие-нибудь мелочи, из которых состоит жизнь. То сегодня будут выдавать «ларек» – премиальный килограмм хлеба, – просто глупо было кончать самоубийством в такой день. То дневальник из соседнего барака обещал дать закурить вечером – отдать давнишний долг.

Мы поняли, что жизнь, даже самая плохая, состоит из смены радостей и горя, удач и неудач, и не надо бояться, что неудач больше, чем удач.

Мы были дисциплинированы, послушны начальникам. Мы понимали, что правда и ложь – родные сестры, что на свете тысячи правд...

Мы считали себя почти святыми, думая, что за лагерные годы мы искупили все свои грехи.

Мы научились понимать людей, предвидеть их поступки, разгадывать их.

Мы поняли – это было самое главное, – что наше знание людей ничего не дает нам в жизни полезного. Что толку в том, что я понимаю, чувствую, разгадываю, предвижу поступки другого человека? Ведь своего-то поведения по отношению к нему я изменить не могу, я не буду доносить на такого же заключенного, как я сам, чем бы он ни занимался. Я не буду добиваться должности бригадира, дающей возможность остаться в живых, ибо худшее в лагере – это навязывание своей (или чьей-то чужой) воли другому человеку, арестанту, как я. Я не буду искать полезных знакомств, давать взятки. И что толку в том, что я знаю, что Иванов – подлец, а Петров – шпион, а Заславский – лжесвидетель?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.